

ГАЯЗ ИСХАКИ

Нищанка

Мулла-
Бабай

Мухамметгаяз Исхаков

Нищенка. Мулла-бабай (сборник)

«Татарское книжное издательство»

1908, 1910

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Тат)-44

Исхаков М. Г.

Нищенка. Мулла-бабай (сборник) / М. Г. Исхаков — «Татарское книжное издательство», 1908, 1910

ISBN 978-5-298-03000-7

Первый роман – воплощение мечты Гаяза Исхаки об идеальной татарской женщине, свободной и прекрасной. Второй роман посвящён проблемам просвещения и воспитания молодёжи. Это единственная в нашей литературе энциклопедия жизни дореволюционного медресе.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Тат)-44

ISBN 978-5-298-03000-7

© Исхаков М. Г., 1908, 1910
© Татарское книжное
издательство, 1908, 1910

Содержание

От переводчика	6
Нищенка	10
1	11
2	26
3	29
4	37
5	51
6	53
7	55
8	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Гаяз Исхаки

Нищенка. Мулла-бабай

© Татарское книжное издательство, 2015

© Килеева-Бадюгина А.И., пер. с татар., 2015

От переводчика



В 1998 году татарская общественность Казани была поражена пророчеством, что через двести лет она исчезнет. Автор столь удивительной новости, которая встряхнула людей,

заставила задуматься о будущем, оказался совсем ещё молодой человек. Его нашумевшая повесть называлась «Инкыраз спустя 200 лет» («инкыраз» по-арабски означает «исчезновение»). Беспощадно критикуя татарское общество, юноша писал в предисловии к книге: «Моя цель – высказать несогласие с нынешним путём нации, дать понять, что этот путь приведёт к исчезновению болгар». Невежество, ограниченность интересов и нищета – вот главные причины, которые погубят народ, считал писатель. (Исхаки был убеждённым болгаристом. «Татары» – это монголы, – не без основания полагал он. Думается, если бы Гаяз Исхаки мог быть с нами до конца своих дней, он сумел бы отстоять свою правоту.)

Габдулла Тукай, прочитав повесть «Инкыраз», так выразил свои впечатления:

«Инкыраз» урок нам дал.
Ах, написавший его – личность!
А я, увы, об этом ничего не знал...

Автором пророчества был Гаяз Исхаки – впоследствии большой, но незаслуженно забытый татарский писатель рубежа 19–20 веков.

Гаяз Исхаки (Мухамметгаз Гилязетдинович Исхаков) родился 22 февраля 1878 года в ауле Яуширма Казанской губернии. Отец его, Гилязетдин-хазрат, был известным в округе духовным деятелем. Мать, Камария-абыстай, была дочерью муллы. В этой семье, к великому горю родителей, дети умирали в раннем возрасте, поэтому Гаяз был особенно дорог им. Необыкновенно одарённый и трудолюбивый малыш рано обучился грамоте и уже в пять лет читал книги на арабском и персидском языках.

Учился Исхаки сначала в родном ауле, затем в медресе Чистополя, после – в известном казанском медресе «Куль буе». В те времена между шакирдами различных медресе проводились диспуты, в которых юный Исхаки принимал активное участие. Это способствовало развитию у юноши самостоятельного мышления.

В формировании общественного сознания и политической зрелости будущего писателя сыграли роль три фактора: прекрасное воспитание в семье; новое джадидское образование в медресе, включавшее помимо теологии естественные и гуманитарные знания; а также учёба в Казанской учительской школе (в 1898–1902 годах). Для поступления в школу необходимо было знать русский язык, и Исхаки овладел им. Здесь ему открылся совершенно иной мир, изменивший его культурные и политические представления. Гаяз познакомился с произведениями русской и мировой классики, сочинениями по философии и политике. Отныне его любимыми писателями стали Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, Ги де Мопассан, Кнут Гамсун, Оскар Уайльд и другие. И всё же идее национального прогресса писатель не изменял никогда.

Политическая активность Гаяза Исхаки всё возрастала. Он страстно выступал за культурно-национальную независимость татар, полагая, что это – главная цель и смысл его жизни. Писатель с головой погружается в журналистику, открывая газеты, попадавшие под запрет, вновь и вновь под другими названиями, в других городах. Вот список газет, в которых он работал: «Тан йолдызы» (май 1906); «Тавыш» (апрель – август 1907); «Иль» (октябрь 1913); «Сюз» (1915–1919); «Безнен юл» (1916–1917). Особой популярностью пользовалась «Иль», где сотрудничали Ю. Акчура, М. Бигиев, З. Валиди, М. Гафури, Н. Гасрый, Ш. Мухаммедьяров, С. Рамиев, Ф. Туктаров.

Гаяз Исхаки – величайший талант, классик татарской литературы, гордость нации. В его литературном творчестве и политических статьях видим глубокое проникновение в психологию человека, его драматические переживания, резкое бичевание общественных пороков, призывы строить жизнь по-новому, воплощать в практику благородные идеалы. Г. Исхаки явился продолжателем дела великих философов – Кул Гали, Мухаммедьяра, Курсави, Марджани, Гаспринского. Татарскую литературу, уходящую корнями в древнеисламский мир Востока, он

насытил духовными достижениями европейской культуры, вывел татар на арену мировой цивилизации.

Гаязу Исхаки было всего сорок лет – возраст творческой зрелости писателя и политика, когда он, к своему великому сожалению, в 1918 году был вынужден покинуть родину. Он мог бы принести ещё немало пользы своему народу в его духовном развитии. Однако подобно другим выдающимся татарским деятелям, не принявшим новый строй, – Ю. Акчуре, С. Максуди, Г. Баттал-Таймасу и прочим – он ступил на горестный путь политического изгоя.

Писатель жил в Китае (Харбине), во Франции (Париже), Германии (Берлине), Польше (Варшаве). Вторая мировая война застала его в Польше, откуда он переехал в Турцию. Жил вначале в Стамбуле, а под конец перебрался к дочери Сагадат в Анкару. Где бы он ни был, Исхаки не прекращал своей литературной и общественно-политической деятельности, не прерывал связь с соотечественниками-эмигрантами, которые рассеялись по разным уголкам Земли, как всегда возглавлял национально-освободительное движение.

Историко-политическое сочинение «Идель – Урал», переведённое на многие языки, получило в своё время мировую известность. Эта книга открыла ещё одну грань таланта Исхаки, показала, что он не только великий писатель и политик, но ещё и учёный-историк. Живя за границей, Гаяз Исхаки не прекращал просветительской деятельности, душой всегда оставаясь со своим народом. Письмо юной девушке из Тампере, написанное в 1954 году незадолго до смерти, названо самим Исхаки «Духовным завещанием булгарской молодёжи». Размышляя о судьбе тюркского мира, об истории тюркских народов и перспективах их развития, писатель до конца жизни оставался верен своим идеалам.

Представленные в настоящей книге произведения писателя – это самые объёмные его сочинения – романы «Нищенка» и «Мулла-бабай».

Работая над романом «Нищенка», я заглянула в прошлое нашего города и испытала настоящее потрясение – так ярко выписана автором жуткая картина казанского Забулачья рубежа 19–20 веков. Исхаки провёл свою любимую героиню Сагадат через круги настоящего ада. Роман – своеобразная энциклопедия жизни дореволюционного города, в которой нашли отражение все слои общества того времени. В образе Сагадат писатель воплотил свою мечту – видеть татарскую женщину просвещённой, независимой, равной в правах мужчине. «Беспроспективно будущее той нации, – писал он, – которая не уважает женщину, не признаёт в ней личности, хранительницы очага, воспитательницы детей, не создаёт необходимых условий для её духовного развития и совершенствования». Проблема женской судьбы в дореволюционной России поднимается с той же остротой, что и в романе «Воскресение» Л. Толстого.

Во втором романе Г. Исхаки впечатляюще показал, как смыслённый любознательный крестьянский парнишка, мечтая стать большим и уважаемым человеком, поступил в медресе. Уникальность романа заключается в том, что никто из татарских писателей не изображал жизнь медресе столь увлекательно и подробно. За годы трудной учёбы Халим, герой романа, прочитал множество священных писаний на арабском языке, вызубрил все молитвы и законы шариата, а в жизнь вышел полным невеждой, не имеющим представления ни о географии, ни об истории, ни о прочих науках. Зато в нём была уверенность, что отныне он сможет судить и поучать свою паству, которая его, молодого ещё человека, почтительно величала «мулла-бабай».

Гаяза Исхаки беспокоило, что татарское общество варится в своём соку, не имея ни малейшего желания знать, как и чем живёт всё остальное человечество. Народ, до смерти напуганный насильственной христианизацией, и слышать не желал о русском языке, тогда как передовым просвещённым представителям нации было совершенно очевидно, что к мировой культуре можно приобщиться лишь через посредство русского языка.

По мнению писателя, освободить нацию из плена невежества могли бы интеллигентные выходцы из разночинной среды, из бедных слоёв общества. Однако реальность была такова, что они вынуждены были служить баям, а те зачастую вели жизнь беспутную и бесполезную.

На мой взгляд, волнения Гаяза Исхаки по поводу будущего татарской нации актуальны и по сей день. Правда, причины, грозящие исчезновению её, изменились. Если раньше татары не желали знать русский язык, то сейчас видим обратную картину – пренебрежение к родному языку. Если бы Исхаки был жив, он бил бы теперь во все колокола, призывая народ опомниться, понять, что без языка нет нации. Неблагоразумно и преступно не понимать этого! Великая заслуга татар состоит в том, что они сохранили язык до наших дней. Надо беречь, любить его и дальше. Знать в совершенстве оба языка – родной и русский – вот наша вполне посильная задача. Пусть родители не боятся переутомить своих чад, пусть помнят, сколько языков изучали дети в дореволюционных гимназиях: латынь, древнегреческий, немецкий, английский, французский. Известно, что знание языков лишь развивает интеллект.

Работая над переводом романов Гаяза Исхаки, я прониклась глубочайшим уважением к личности писателя и благодарна судьбе за встречу с его творчеством.

Нищенка



1

Трёхлетнюю дочку муллы звали Сагадат. Хусниджамал-абыстай решила дать своей новорождённой малышке то же имя, ведь слово «сагадат» означает «счастье».

Хотя имена у девочек были одинаковые, жизнь их сильно отличалась. Махдуму¹ Сагадат в ауле обожали, тогда как до Сагадат Хусни-абыстай никому не было дела, кроме разве отца Шарипа-абзы да самой Хусниджамал-абыстай.

Если дочка муллы с юных лет носила ичиги с чудесным скрипом и кавуши, то у нашей Сагадат не было ничего, только собственные ножки. Дочка муллы хотя и не любовалась собой в огромных, во всю стену зеркалах, на столе у неё стояло хорошее зеркало. Наша же Сагадат прихорашивалась, глядясь в малюсенькое зеркальце ценою в полторы копейки. Да и то досталось ей на свадьбе соседки как подарок жениха.

Дочка муллы носила расшитый монетами калфак, тогда как Сагадат лишь с недавних пор начала повязывать на голову платок. Когда платок был новый, мать носила его по праздникам и куда-нибудь в гости, а уж когда показываться в нём на глаза людям стало стыдно, он перешёл в собственность Сагадат.

Платьям Сагадат, конечно же, было далеко до нарядов махдумы. Однако одежды матери, ставшие тесными, перешивались на девочку по её меркам.

Когда Сагадат подросла, Шарип-бабай стал плести для неё, единственной своей дочери, хорошенькие лапти. Радости Сагадат не было границ, когда она надевала их с чулочками, связанными матерью. В такие дни девочка становилась особенно доброй, не перечила подружке, жившей по соседству, и ходила с ней к роднику за водой для чая, помогала переносить ведра через мостки.

Радость озаряла её всегда приветливое личико каким-то особенным светом. В такие дни смотреть на маленькую Сагадат каждому доставляло удовольствие.

Осенью в ауле появился коробейник, и Сагадат обменяла яйца чёрной курицы, которые дала ей мать, на небольшую лепёшку жевательной серы, браслет из пуговиц и бисер. Личико её светилось от счастья ярче прежнего. Ярче даже, чем в те дни, когда отец, батрачивший в соседней русской деревне, приносил ей аппетитную репу, похожую на круглую чашу, при одном взгляде на которую невольно бежали слюнки. Она носила пуговички то в виде браслета, то на пальце вместо колечка. Когда Сагадат ходила с подружками на луг, она показывала свои сокровища девочкам с другого конца аула. Рассказывала, как ей удалось получить от матери яйца.

Ранней весной Сагадат собирала с подружками сныть, чуть позже – борщевик. Сагадат никогда не упускала случая, чтобы пойти с девушками отбеливать в снегу холсты. Она с удовольствием помогала им замачивать холсты в холодной воде, а после собирать их. Она слушала, как девушки со смехом говорили о парнях. Поскольку это был лёгкий шуточный разговор, ничего дурного в том не было. Отбивать холсты стало её любимым занятием. В перестуке колотушек ей слышалась музыка, и сердечко её заходило от восторга. Это похоже на грёзы наяву. После возвращения стада, выпив немного козьего молока, которое давала мать, она шла на гумно присматривать за коровами. В тёплые летние дни Сагадат и такие же, как она, девочки затевали разные игры. Сначала играли в камушки, потом водили хороводы «айлян-байлян», после гонялись друг за другом. Одни игры следовали за другими, всё равно что пять намазов, которые в определённом порядке сменяют друг друга. Частенько, подгоняя коров к дому, девочки заигрывались до самого намаза ясту². Иногда внезапно налетала туча. Молнии,

¹ Махдума – дочь муллы.

² Ясту – пятая молитва после захода солнца.

озарявшие небо яркими вспышками, вынуждали их скорее гнать коров и возвращаться домой рано. Случалось, что дождь настигал их раньше, чем удавалось добежать до дома, и тогда, спрятавшись под навесом клетки, что стоит возле мостика, ей нравилось наблюдать за шумящим дождём. Но вот дождь ослабевал, раскаты грома становились всё реже. Девочки выходили из-под навеса и, радостно шлёпая ногами по мокрой мураве, шли домой. Утро после такого дождя казалось Сагадат необычайно красивым. Солнце светило ярко, как никогда, умытые дождём посевы в поле, казалось, купались в его щедрых лучах. И ножки у Сагадат были беленькие и чистые, как гусиные лапки. Во всём теле ощущала она лёгкость необыкновенную, будто сбросила с себя тяжёлые одежды.

Сагадат любила также ходить за ягодами. Шарип-бабай смастерил для неё берестяной туесок. Когда ягод в лесу бывало много, Сагадат каждый день после утреннего чая вешала туесок на шею и уходила с подружками в лес. Чаще она возвращалась с туеском, до краёв наполненным ягодами. Особенно нравилось ей собирать луговую клубнику там, где мужики, выстроившись друг за другом, словно стая диких гусей, косили траву (разумеется, где косари разрешали собирать). Всю зиму Сагадат скучала по звону кос, затачиваемых оселком. Когда надо было ворошить сено, собирать его, Сагадат всегда бывала на лугу. В такие дни она появлялась передник, а на голову надевала белую войлочную шляпу. Перед выходом из дома смотрелась в своё зеркальце, всякий раз отмечая, что всё больше становится похожа на девушку. Отправляясь на луг с отцом или с кем-нибудь из соседей, она ловко вскидывала на спину небольшой короб, который сделал для неё отец, и бодро шагала по дороге, легко перебирая ножками. В коробе она несла воду, без которой в жару никак нельзя. Смотреть на Сагадат в белых нарукавниках, какие носили все девочки, с посверкивающими на солнце украшениями в косах, слышать, как поёт у неё в руках старательно наточенный серп, было удовольствием.

Ей нравилось работать серпом, нравилось носить белую шляпу, вплетать в волосы блестящие украшения. Не было для неё в жизни счастья, больше этого. Огорчало только одно – сознание своей бедности, что мало у неё одежды.

А ещё любила она бывать на обмолоте гороха. В такие дни она обычно играла с девочками в гости. Хусниджамал-эби варила для них гороховый суп.

Так проходило лето нашей Сагадат.

С приходом зимы жизнь девочки менялась. Утром шла она на урок, прихватив с собой лучины, которые сохли у них возле печи. Сагадат очень хотелось бы приносить, как другие девочки, полено, но абыстай, зная, как бедны её родители, велела ей приходить безо всего. Сагадат, несмотря на запрет, всё равно носила бы поленья, но дров дома и в самом деле не было, так что приходилось довольствоваться лучинами.

В школе Сагадат считалась одной из лучших. Она уже приступила к чтению «Фазаилешшехур», не спеша распевая слова на определённый мотив. Когда подходило её дежурство, она с радостью оставалась в доме оазабике и мыла полы. В такие дни она чувствовала себя ближе к абыстай. Особенно нравилось ей общаться с её дочерью, своей тёзкой. Та читала Сагадат интересные книги, которые присылал ей из города брат, шакирд медресе. Постепенно они так сдружились, что дочка муллы стала оставлять Сагадат у себя на ночь. Они засиживались порой до вторых петухов.

Хусниджамал-абыстай радовалась, что дочь её стала в доме муллы своей, а Шарип-бабай, хотя и ворчал иногда, говоря, что его дочери всё равно не бывать женой муллы, так что, мол, нечего тратить время на бесполезную учёбу, всё же ходить Сагадат в дом муллы не запрещал. Вскоре абыстай, которой очень нравился кроткий нрав Сагадат, забрала девочку к себе, говоря, что дочери она будет подругой, а ей помощницей. Шарип-бабай, почесав затылок, заявил, что лучше бы ей жить дома, но на этом всё и кончилось. Хусниджамал-абыстай велела дочери не пропадать, показываться иногда на глаза. Сагадат и сама дня не могла прожить без матери. Как бы хорошо ни было ей в доме муллы, к матери прибегала часто.

Жизнь в доме муллы пошла Сагадат на пользу. Она поправилась, округлилась. Вечерами дочь муллы дополнительно занималась с нею, так что и в этом отношении успехи её были прекрасны. Прошло всего месяца два, а уж она вместе со своей тёзкой высоким голосом громко распевала «Мухаммадию». Была в её голосе особенная сила. Слушая Сагадат, люди впадали в странную задумчивость. Все, кто слышал её однажды, хотели слышать ещё и ещё. Когда Сагадат умолкала, слушающие смотрели с сожалением, словно лишившись чего-то очень важного для них. Но и читала она, надо сказать, так, что всё её существо трепетало от воодушевления.

Когда абыстай приглашали на обед и девушки оставались одни, Сагадат играла на кубызе. Иногда с тёзкой вдвоём они тихонько пели. Сначала «Тафтиляу», потом «Аллюки». Пели песню «Камыши на Волге». Слова: «Не плачь, милая! Не плачь! Такая уж у нас судьба!», которыми кончалась песня, Сагадат с большим чувством повторяла несколько раз. Слушая её, можно было подумать, что девочка уже знакома с настоящим горем. Но это было не так, потому что Сагадат росла в благодатном краю, среди живописной природы. Детство и юность её протекали спокойно, без потрясений. Старые люди говорят: «Песни того, кому уготована горькая доля, всегда печальны». Неужели они правы? В таком случае выходило, что песни Сагадат – предвестники её будущих бед?

Наша Сагадат была необыкновенно чувствительной девочкой: проливала слёзы над печальной историей любви Тахира и Зухры или Буз-джигита из сказки. Книги она читала она с упоением, забыв обо всём на свете, запоминала множество байтов о печальных событиях в жизни и истории.

Муллу-абзы с женой часто приглашали на обеды, а потому девушкам никто не мешал. Дочь муллы тайком учила Сагадат писать. Обе девушки, хотя и воспитывались в духе шариата, росли достаточно свободными. Много радовало её в те годы. К монетам, подаренным ей абыстай и другими людьми, она добавила ещё, взяв их на время у дочери муллы, и соорудила чулпы, которыми украсила свои роскошные косы, сшила по моде, заведённой у них в ауле, весёлое жёлтое платье. Нарукавники у неё были белоснежные. Так Сагадат ходила летом в поле на работы. Всё, о чём она в прошлом году могла лишь мечтать, теперь у неё было. Она всегда находила минуту, чтобы забежать в дом муллы, обитатели которого были дороги ей, – днём, когда возвращалась в аул на обед, или же вечером, по дороге к роднику за водой.

Осенью, работы в поле ещё не кончались, а уж Сагадат снова перебиралась к озазбике. Учёбой, уборкой в доме, чтением «Мухаммадии» были заполнены дни и месяцы Сагадат. Она прочла все книги своей тёзки, которая была уже взрослой девушкой, – «Абжад», «Тухфатель-мулюк», «Морадельгарифин». Несколько раз перечитала «Кыйссас аль-анбия», «Маулед», а что до легенд и сказаний, которые присылал махдум-шакирд, она с великой радостью брала их в руки так часто, что книги имели довольно грустный вид.

Так жила Сагадат, пока ей не исполнилось шестнадцать лет.

Хотите знать, радовался ли Шарип-бабай, глядя на свою дочь? Узнать, что думал этот человек, было очень даже затруднительно.

Он был грубым стариком. О таких вещах он вообще не умел задумываться. Жену и дочку, которая была их единственным поздним ребёнком, очень любил. Но любовь у него была своеобразная. Сагадат он вообще-то никогда не притеснял, но думать о том, как устроится судьба дочери, за какого человека будет лучше выдать её, за какого выдавать не следует, – такие мысли в голову ему никогда не приходили. Хусниджамал-абыстай иногда заводила с ним такой разговор:

– Послушай-ка, за кого мы Сагадат отдадим? Выросла ведь уже.

Шарип-бабай на это отвечал:

– Я целых двенадцать лет служил в солдатах, а без жены всё ж не остался, так и она без мужа не будет.

Вот так всегда: едва дело касалось чего-нибудь важного, он заводил разговор про то, как в солдатах служил. А всё оттого, что за всю жизнь не было у него другого, более важного события. Всякий любит похвастаться самыми «большими» своими заслугами, вот и он к месту и не к месту притыкал солдатское своё прошлое. Перед людьми помоложе бил себя в грудь и величал «николаевским солдатом», прослужившим двадцать пять лет. Из солдатчины вернулся он другим человеком и многое делал не как прочие мужики. Хоть и старый был, а курил, к примеру, трубку. Вонь от его махры расплзалась по всей улице. Мальчишки, учуяв её, кричали: «Ого, Шарип-бабай трубку закурил!» и бежали, чтобы, вскарабкавшись на его кухонное окно, разглядеть куряку. А Шарип-бабай в это время с трубкой в зубах творил намаз. Вообще-то человек он был безвредный, перед сильными не стелился и тех, кто был слабее него, не обижал.

Деньги, какие имел, расходовал бережно. Не сквернословил. А уж если и ругался когда, делал это мастерски – не придерёшься. Но такое случалось очень редко: если поймает, например, в просе за током гусей или пастух не доглядит за единственной его козой и та захромает. Тут уж трудно бывало сдержаться, вот и вываливал в сердцах кучу разных непотребных слов.

в характере Шарипа-бабая больше всего удивляли его редкостная строптивость и неуступчивость. До того был упрям, что наперекор всему доводил задуманное до конца. И неважно ему, хорошо ли, плохо ли поступает, лишь бы было, как он сказал. Юнцом его нарочно заводили:

– Ну что, Шарип, обменяешь свой каляпуш на мою чеплашку? А ведь не станешь меняться!

И таким манером забирали у него все хорошие вещи. Ему не жаль было вещей, лишь бы всё было, как он решил. От такого его нрава нередко страдала и Сагадат.

Иногда на улице доходили до его ушей всякие досужие разговоры. Кто-то пустил слух, будто бы в дом Табкия, где девушки ошипывали гусей, прокрался сын Фатхия. Узнав такое, Шарип-бабай забрал Сагадат от ошазбике и целых три дня держал дома, запретив видиться с подружками. Но в основном он доверял дочери и не ограничивал её свободы. Упрямый нрав отца передался и Сагадат – отчасти по наследству, отчасти по воспитанию. Не позволить ей делать то, что она хотела, или заставить заняться нежеланным делом, было так же нелегко, как взять штурмом крепость.

Хусниджамал-эби, совсем не похожая на мужа, со всеми была приветлива. Молодых ласково называла «канатым» («крылышко моё»), а к женщинам постарше обращалась не иначе, как «абыстай». Зимой и летом в печи у неё чужие снохи, которые, как известно, любят лакомиться тайком от свекровей, пекли пресные лепёшки, а свекрови, украдкой от снох, готовили для своих любимых дочек гостинцы – сочные мясные балиши и пышные хлебы. Не подумайте, что Хусниджамал-эби была с ними заодно. Вовсе нет. Просто она не умела отказывать людям в просьбе. Не могла прогнать человека. Соседские ребяташки любили её и звали «карт эби» («старенькая бабушка»). Вся улица, если надо было ехать на жатву в дальние поля, подоить своих коз и коров доверяла только ей одной. Порой она от утренней зари до позднего вечера, пока не вернётся последнее стадо, так и ходила от одного дома к другому, доила где корову, где козу, и делать это никогда не ленилась. Ни один человек не слышал из её уст ни слова упрёка. Она не говорила: «Я сделала тебе то-то, а чем ты отплатишь мне за это?» Таких слов она не знала. В последнее время Хусниджамал-эби стала помогать женщинам при родах. Поскольку говорила она только нужные слова, работы не боялась и охотно помогала людям, её часто звали на праздник к новорождённым, чтобы поднесла им первую в жизни ложечку с мёдом и маслом, веря, что после этого дети вырастут такими же добрыми и трудолюбивыми, как она. Хусниджамал-эби никогда не жаловалась на свою жизнь. Хотя ей уж очень не нравилась трубка Шарипа-абзы, она всё же ни разу не сделала ему замечания.

Сагадат наша росла с такими вот родителями. К шестнадцати годам она превратилась в разумную девушку, то есть понимала, что стала взрослой и что для девушки важно беречь

своё доброе имя и честь. Из книг «Юсуф», «Сайфельмулюк» и других она узнала, что на свете существует «любовь», которая даётся людям от Аллаха. С одной стороны, ей казалось, что чувство это знали только люди, жившие в старые времена, а с другой стороны, верила: если будет на то воля Аллаха, любовь может прийти к каждому. Сагадат очень уважала отца и мать. Считала, что служить им, угождать – самое главное дело в жизни. Вместе с тем она ещё слишком мало прожила на свете и плохо знала людей. Ей и в голову не могло прийти, что можно как-то навредить другому человеку, украсть, например, что-то. Она была доброй и доверчивой девушкой. Не подозревала, что сказанное кем-то слово может оказаться хитростью и ложью. Больше всего на свете боялась она оказаться посмешищем, быть униженной и посрамлённой. Ей казалось, случись с ней нечто подобное, она просто не сможет жить. В мелочах упрямство её было мало заметно, однако в делах поважней ничто не могло её заставить идти против воли. Кроме того, она была вспыльчива и быстро отдавалась чувствам.

При первом взгляде Сагадат не привлекала к себе внимания, но, всмотревшись, люди видели, как она хороша собой. Типичная болгарка: личико круглое, глаза чёрные, прекрасно очерченные брови, похожие на луну в новолуние. Носик небольшой, можно сказать, даже чуточку маловат. Чёрные длинные волосы, ниже пояса, она заплетала в две толстые косы. Зубы, которые она никогда не закрашивала чёрным, как другие девушки в ауле, блестели, словно жемчуга. Рост у Сагадат был средний. Поступь была лёгкая, ножки прямые, без всяких изъёнов.

Итак, Сагадат вступила в 1897 год, благополучно достигнув шестнадцати лет. Это был особый год, полностью изменивший жизнь нашей героини. Причин для этого было более, чем достаточно. В 1897 году в Поволжье случилась засуха. в ауле, где жила Сагадат, ожидался голод. Шарипу-бабаю, хотя семья у него была невелика, казалось, что пережить голод им будет очень трудно, и в голову ему невесть откуда взбрела мысль о переезде в Казань. Не обращая внимания на слова Хусниджамал-эби и Сагадат, он принялся продавать вещи: сундук, старый набитый шерстью тюфяк, кумган, таз и другое. Распродав всё лишнее, он выручил семнадцать рублей и, перебравшись в Казань, снял на берегу озера Кабан квартиру за три с полтиной рубля и стал жить в ней. Он рассчитывал найти работу дворника или что-то в этом роде. Но поскольку год выдался голодный и приезжих из разных мест оказалось много, шестидесятилетнему старику найти работу было трудно. Для Хусниджамал-эби и Сагадат работы также не было. И начали они проедать деньги. Дрова, квартира, еда – всё это стоило слишком дорого. Денег хватило лишь на один месяц. Распродав всё, что у них было, они продержались ещё месяц. Между тем работы для Шарипа-бабая всё не находилось. Старик отчего-то вдруг начал хворать. Болезнь постепенно осложнилась, у него отнялись руки и ноги. Для Хусниджамал-эби с Сагадат это было страшным ударом. Как теперь кормиться, как ухаживать за отцом? Продали последнее, у Сагадат осталось одно-единственное платье. Однако вырученные деньги тут же и кончались, будто проваливались в бездонную яму. О том, что Шарипа-бабая можно отвезти в больницу, они не догадывались.

Вскоре продавать стало нечего, но хуже всего было то, что Хусниджамал-эби внезапно тоже слегла. На руках у Сагадат оказались двое беспомощных стариков. Это был конец! Сагадат не видела никакого выхода. Начали голодать.

Сагадат, прослышав о казарме, ходила туда посмотреть, что это такое, и решила поселиться там. Но как перебраться с больными стариками? К вечеру соседи дали им немного супа и хлеба, а водовоз, живший в том же дворе, запряг свою лошадь и перевёз их на новое место. В казарме собралось много обездоленных. Свободные места для вновь прибывших пока ещё были. В обустройстве стариков казарменный люд принял самое живое участие, помогли занести их и разместить.

Место отвели в углу, недалеко от печки. Люди подходили, спрашивали о самочувствии, проявляли участие. Оказалось, что большинство их, как и Шарип-бабай, бежали от голода из деревень в надежде найти работу. Были среди них и земляки.

Высокий потолок казармы с двух сторон подпирали столбы. Кое-кто приспособил их для занавесей, устроив себе таким образом подобие комнат. Всюду в маленьких лампадках мерцали огни. Сумрачные, усталые после работы, либо после бесплодных поисков её, люди пили из самоваров чай. Пар, клубясь, устремлялся под потолок и напоминал Сагадат аул. Когда она шла по улице к дому муллы, дым из труб так же вот лениво и прямо поднимался в морозном воздухе. В казарме было не холодно, хотя и не топили. Просто день был погожий, да ещё люди своими самоварами и готовкой на огне добавляли тепла. Неподальёку от Сагадат женщина варила суп. Бедняжка то и дело черпала из казана ложкой – то ли хотела узнать, довольно ли соли, то ли была очень голодна и не могла дожидаться, пока суп будет готов.

Возле двери молоденькая девушка умывалась с мылом в лохани. Посредине муж с женой сидели за столом и с явным удовольствием пили чай. Мужчина то приваливался на подушку, то садился прямо, осушая чашку за чашкой, которые подавала ему смуглая жена в платке, повязанном на затылке. На лбу у них блестели капельки пота. Ближе к Сагадат лежали две старухи и женщина средних лет. В старухах и одежда, и каждое движение, и выражения лиц – всё выдавало, что они давно знакомы с нуждой. Без жалости на них нельзя было смотреть. У одной глаз скрылся под опухолью сизого цвета, другая при ходьбе сильно припадала на ногу. Женщина помоложе смотрела с тоской и безнадёжностью, всем своим видом будто говоря: «Нет, ждать от этой жизни нечего». На лице её были написаны недовольство, враждебность, недоверие. Через некоторое время она стала что-то искать в своей лоснившейся от грязи одежде и, найдя клочок бумаги, скрутила сигарку.

Наблюдая за этими людьми, Сагадат почувствовала в душе страх. Впервые в жизни видела она курящую женщину. Если бы такое случилось в ауле, она сказала бы: «Вот бесстыжая, курит табак!» Но об этой несчастной трудно было сказать такое. У сердобольной Сагадат она могла вызвать только жалость. Одна из старух, ворча себе под нос, принялась развёртывать какую-то белую тряпицу. Разобрать, что она бормочет, было невозможно, но по отдельным словам Сагадат догадывалась, что нищенка жалуется на жизнь:

– Эх, то ли раньше было!.. Купить что-то из одежды или еду... А теперь что?... Четверть копейки, золотник плиточного чая... Вот и живи тут...

Другая старуха не переставая скребла себя ногтями. Но вот она не выдержала, стащила с себя одежду, несмотря на то, что вокруг были люди, и принялась искать вшей. Под платьем у неё оказалась истлевшая мужская рубаха без рукавов, которая её совсем не прикрывала. Она не обращала на это ни малейшего внимания и продолжала своё занятие. Сагадат с удивлением смотрела на вислые, высохшие груди старухи, которая среди стольких людей без смущения выставила напоказ своё тело, и не знала, что об этом думать. Вскоре внимание её привлекли два парня, которые устроились по соседству со старухами. Один из них потянулся к полке за гармонию и начал играть. Другой, усатый, лет тридцати пяти-сорока, с круглым лицом, живыми глазами, лежал рядом. Когда он снял бешмет, под ним обнаружилась русская одежда. Он, казалось, не обращал внимания на товарища, игравшего на гармонии, сидел с мечтательным, отрешённым видом. Ему не было дела до окружающих. Сагадат не спускала с гармониста глаз, потому что звуки гармонии живо напомнили ей аул, когда в осеннюю пору по улицам ходили молодые парни, играя на гармонии и распевая песни. Ей казалось, что и теперь звучит гармонь сына Хисами, а они с дочкой муллы слушают, притаившись в чулане под окном, выходящим на улицу, чтобы их не увидела абыстай. Старинные песни сменяли одна другую, и Сагадат, заслушавшись, забыла, где находится, что вокруг неё жалкие, грубые люди, не ведающие стыда. Мысли её улетели далеко. Она пыталась разглядеть своё «будущее», едва-едва вырисовывавшееся вдали.

То она представляла себя замужем: муж, верный старым обычаям, творит намаз, не курит трубку, собой недурен; живут они в справном доме, и дети у них есть. Муж – уважаемый человек, когда он говорит, даже бородатые люди внимательно слушают его. Маленькая дочка любит играть в куклы. По утрам дети, закинув за спину ранцы, идут учиться. Оставшись дома, они с мужем неторопливо пьют чай – одна картина сменяла другую, увлекая Сагадат всё дальше и дальше. Порой она, отвлекшись от мечтаний, замирала, уставившись в одну точку. Гармонь заиграла новую мелодию, и мысли Сагадат потекли по иному руслу.

Вместо недавнего красивого «будущего» она задумалась о теперешнем бедственном их положении. А если, не приведи Аллах, умрёт отец, умрёт мама, останется она одна-одиёшенька, и тогда... И тогда... Одна среди стольких непохожих друг на друга людей и ни одного близкого человека, и замуж выйти нельзя будет. Как можно жить с пьющим человеком? Потом будешь век проливать слёзы, оплакивать свою молодость, будешь жить впроголодь, подхватишь, чего доброго, какую-нибудь дурную болезнь, превратишься в бесстыжую женщину, вроде той курильщицы, а после станешь такой же страшной старухой, которая, сбросив на виду у всех одежду, давит вшей. От этих ужасных мыслей девушку бросало то в жар, то в холод. Тоска и страх овладели ею.

Сагадат вздрогнула и открыла глаза. Гармонист играть перестал, старухи и все, кто там был, смотрели, раскрыв рты, в одну сторону. Сагадат тоже перевела туда взгляд и увидела двоих людей, направлявшихся к ним. Мужчина в потрёпанной одежде – на одной ноге резиновая галоша, на другой кожаный кавуш – тащил под руку бьющегося в ознобе человека в ветхом казакине поверх рубахи. Человек этот был весь в крови, один глаз полностью заплыл. Он, видимо, замёрз, потому что зубы его громко стучали. Хотя мужчина держал его, человек заваливался то влево, то вправо и плёлся еле-еле. Нахмурившись и ни на кого не глядя, мужчина всем своим видом показывал, что ему важно лишь дотащить бедолагу до места и уложить.

Пьяница вдруг остановился и принялся вырываться, пытаясь что-то сказать:

– Отпусти ты меня... отпусти, Шамси! Отпусти меня... я... им покажу... Валлахи, все зубы вышибу...

Тот, кого он называл Шамси, прикрикнул:

– Не болтай! Мало досталось, хочешь, чтобы и рёбра тебе пересчитали? – Пьяница пытался выдернуть руки. – А ну, шагай! Шагай, говорю, мать твою!.. Ещё-то чего тебе надо?

Пьяница тянул своё:

– Шамси, говорю, Шамси! Век помнить буду... Валлахи... Видал, как я их! – Он снова стал дёргаться: – Пусти! Пусти! Мать твою... Пусти!

Товарищ гармониста подошёл к ним:

– Не отпускай, не отпускай его! – сказал он и взял пьяного под вторую руку. – С кем он на этот раз сцепился?

Пьяница, взглянув на него, пролепетал:

– Айда, Гали! Угощу тебя!.. Напою... Выпустим им кишки... Пусти! Пусти!

Шамси залепил ему пощёчину:

– Вот тебе «пусти»! – И ударил ещё: – Вот тебе!

– Ох, мать твою... я покажу... тебе! Гали, давай свернём... ему скулу... Пойдём, угощу!

– Ладно! Ладно! Угостишь, – прикрикнул на него приятель. – Давай, Гали, помоги мне.

Они подхватили пьяницу с двух сторон, довели до койки и уложили, подсунув ему под голову одежду. Тот поворчал немного и очень скоро уснул мертвецким сном.

Сагадат, которой в жизни не приходилось видеть ничего подобного, прямо-таки остолбенела от изумления. За день она насмотрелась и наслушалась столько всего, что переполненная впечатлениями голова её отказывалась что-либо соображать. Некоторое время она ошеломлённо смотрела на родителей, в голове не было ни единой мысли. Тут огоньки в казарме стали гаснуть – люди ложились спать. Она тоже начала готовиться ко сну, – надо было творить намаз,

но выйти на улицу было страшно. Лечь, не помолившись, Сагадат не могла, ведь за всю свою жизнь она не пропустила ни одного намаза. Девушке казалось, если она ляжет, не сотворив намаза, уснуть ей не удастся. Подумав, Сагадат решила попросить женщину, при которой были две старухи, чтобы та вместе с ней вышла во двор.

– Абыстай, не могли бы вы пойти со мной? – спросила она тихонько, подойдя к соседке.

Та, ни слова не говоря, пошла с ней. Вернувшись, Сагадат умылась, прочитала намаз, спросила родителей, не нужно ли им чего, и легла между ними. Она долго не могла уснуть.

В голову лезло всякое, мысли сменяли одна другую. Намаявшись, Сагадат наконец задремала. Тут ей то ли во сне, то ли наяву послышался голос – кто-то молился. Она открыла глаза. В дальнем углу печально светила лампадка. В её свете она разглядела таз, накрытый старой скатертью, возле него старый бешмет и меховую шапку. В скупом свете лампы (в ауле у них такие лампы жгут обычно осенью во время обмолота гречихи) вещи эти казались ей гречишной копной. Возле таза в одной рубашке, босиком, в коротких штанах стоял старик и негромко тянул молитву «Камат».

При виде этого человека Сагадат вдруг ощутила облегчение. Всё, что она видела сегодня, было глубоко чуждо ей. Все, кто окружал её здесь, казались Сагадат не то чтобы другими, а скорее, ненадёжными какими-то людьми. Увидев старика, она поняла, что он тоже случайно оказался среди чужих, что он – её земляк, и понять её мог бы только он один. Теперь Сагадат было не так страшно при мысли о кончине отца, она вдруг поверила, что не будет одинока. Девушка с удовольствием прислушивалась к молитве. И чем дольше слышала она этот голос, тем ближе становился ей пожилой незнакомец. После намаза старик прочёл молитву «Табарак». Завершая намаз, он долго поминал души усопших. Старик тихонько поднялся с колен, откинул скатерть и стал разглядывать содержимое таза. То был редис. Тыча пальцем в каждый овощ, он принялся считать. Покончив с этим, вытащил из кармана деньги и начал пересчитывать. Хотя Сагадат не могла видеть деньги, она догадалась, что их немного, потому что со счётом он справился очень быстро. Старик положил деньги под подушку, погасил свет и лёг. Его молитвы, которые Сагадат слушала очень внимательно, снова пробудили в ней надежду. Успокоившись, она уснула.

Снилось ей, будто отец с матерью садятся на пароход, собираются куда-то ехать. Народу очень много. Там, на пароходе, есть будто бы мулла-абзый и какие-то люди. Река, по которой плывёт пароход, очень широкая. А потом оказалось, что это не река вовсе, а пустыня. Пароход остановился. Со всех сторон его теснили пески. Народ убежал от песка. Сагадат будто бы тоже спасалась от него. А родители почему-то остались. Чем дальше продвигалась она по песку, тем больше его становилось на пути. Где-то неподалёку видна была зелёная лужайка. С великим трудом, увязая на каждом шагу, добралась она до лужайки. Какая-то невидимая сила долго не пускала её из песка на травку, потом удалось прорваться. В траве там и сям встречались грубые колючки чертополоха. И чем дальше шла она, тем колючек становилось больше. И вот уж чертополох сдавил её со всех сторон. Колючки пристают к ней и больно жалят. Сагадат проснулась.

Оказалось, мать пытается разбудить её. Сагадат тут же вспомнила свой страшный сон.

– Что случилось, эни? – спросила, она протирая глаза.

В казарме было холодно. Ветер дул в выбитые окна, которые стучали и хлопали, издавая какой-то жуткий визг. В этом звуке Сагадат слышались слова: «Нету, нету больше счастья!...» Люди всхлипывали во сне. Было темно, ни одна лампадка не светила.

Лишь луна, выныривая временами из облаков, слабо освещала казарму. Тени облаков ползли по стенам, которые то освещались, то снова погружались во мрак. Крыша казармы скрипела на ветру, издавая пугающие звуки, похожие на стоны. Железные щеколды, раскачиваясь, то и дело ударялись о дверь. Ветер завывал в трубах, и звук то устремлялся вверх, то опускался

вниз, напоминая осенний лес с его жутким воем и бесовскими плясками. Сагадат казалось, что доски на потолке вот-вот обрушатся на них. Отец спросил печально:

– Что, страшно тебе, кызым?

Сагадат не стала огорчать его.

– Нет, эти, – сказала она, – чего же мне бояться, когда вы рядом?

Шарип-бабай, сдерживая слёзы, повторил:

– Дочка... когда мы рядом... – и замолчал.

Через некоторое время он заговорил снова:

– Я умираю, дочка... Смерть моя привела меня сюда... Прости, дочка... Дочка... не забывай меня... Поминай в своей молитве по четвергам, дочка... Почему молчишь, дочка? ... Слушайся мать. Она тебя очень любит. Не обижайся на неё за всё это... Я виноват перед тобой, дочка. Пусть Аллах пошлёт тебе счастье... Карчык³! Ты тоже прости меня!.. Прости... О Аллах... Я Раббем... Что же я натворил?! Куда заташил вас! – и он безутешно заплакал: – Дочка, иди сюда!.. Иди сюда, дочка! Дитя моё, доченька, не обижайся на меня... знать, судьба... наша такая... – Шарип-бабай положил руку на плечи Сагадат и стал гладить её по голове. Слёзы душили его, он не в силах был сдержать их.

Когда Шарип-бабай гладил Сагадат обессиленной рукой, она вспомнила, как часто в детстве он гладил её по голове. Тут же на память пришла чудесная пора юности, счастливое время, проведённое в доме муллы, а сегодня отец умирает среди чужих гадких людей. От этой мысли ей стало так плохо, словно на неё опрокинули ведро ледяной воды.

– Отец... – только и смогла сказать Сагадат, слёзы хлынули у неё из глаз.

Шарип-бабай чувствовал, что дочь хочет сказать ему что-то, но слёзы мешают ей. Он снова погладил её по голове.

– Что, дитя? – сказал он.

– Отец... я прощаю тебя... – сказала Сагадат. – Молись... за меня.

Услышав такие слова, старик снова зарыдал. Он воздел руки и принялся молиться.

– И-и Раббем... дай ребёнку моему счастья! Убереги от греха!!! Дай ей сил выстоять, воздержаться от дурных поступков! Не лишай благонравия и счастья!.. – раздельно и внятно произнёс он. – О Аллах, Аллах!.. Карчык!.. Умираю... Прости... Положите меня головой к Каабе... О Аллах, Аллах, Аллах!.. Прости мои прегрешения...

После этих слов Сагадат, роняя слёзы, с большим усилием повернула отца на бок. Хусниджамал-эби тихонько присела на койку рядом с мужем. Сагадат, не зная, что делать, держала в руках холодеющую руку отца и мысленно просила Аллаха простить отцу все его грехи, послать матери здоровье, а для себя... просила счастья. Шарип-бабай, с трудом шевеля языком, проговорил: «Ля... илахе... илля... Аллахе Мухаммад... Расул... уллах». Услышав это, мать с дочерью громко заплакали, не в силах дольше сдерживаться.

То ли разбуженный их голосами, то ли проснувшись сам, старик, который творил на ночь намаз и считал редис, направился к ним. Не глядя на женщин, он сказал:

– Пусть последний свой вздох испустит под звуки Корана, – и начал читать «Ясин». Больной силился сказать что-то, но не смог. Сагадат с Хусниджамал-эби плакать перестали и только всхлипывали время от времени. Священная молитва успокоила их и внушила благодатную уверенность, что теперь всё идёт как положено. Если отец и умрёт сейчас, жизненный путь его будет завершён достойно. Сколько бы ни благодарили они старого человека, всё равно останутся у него в долгу. Старик молился, и в глазах его блестели слёзы. Они подкатывались к горлу и будто душили его. Шарип-бабай долго с беспокойством смотрел в глаза жены, потом перевёл взгляд на старика, казалось, ему нужно сказать что-то важное. Губы его делали усилие произнести какие-то слова. В конце концов он с большим трудом выдал из себя: «Алла...»

³ Карчык – старушка. Общепринятое у татар обращение к жене.

Сагадат с матерью снова залились слезами. Сагадат, как безумная, твердила лишь одно: – Отец мой умирает! Умирает! Родимый умирает! Он умирает! – и зарыдала в голос.

Хусниджамал-эби держала дочь за руку и тоже плакала, боясь сорваться на крик. Старик, читавший Коран, с трудом сдерживал подступившие к горлу рыдания.

Тут с лампадой в руке к ним медленно подошла женщина, которая курила табак. Она тихонько поставила лампаду в изголовье Шарипа-бабая. При свете огня побелевшие расширенные глаза отца показались Сагадат незнакомыми. Ей никогда не приходилось видеть их такими. Шарип-бабай долго не спускал глаз с жены, как бы посвящая ей последний свой взгляд. Потом перевёл их на Сагадат, потом – на женщину в рваной одежде, которая неподвижно сидела возле чтеца Корана. Из глаз у неё тоже покатались слёзы. Шарип-бабай потянулся и с усилием выдал из себя: «Д-д-доченька». Сагадат снова взяла его руку и, не отрываясь, стала смотреть на отца... Шарип-бабай выдохнул: «Аллах-х-х», и замер. Хусниджамал-эби тоже не сводила с него глаз. Женщина стояла всё так же молча и неподвижно. Прошло несколько минут. Сагадат вдруг припала лицом к руке отца и закричала, рыдая:

– Умер!!! Отец, родимый, дорогой!!! Умер...

Хусниджамал-эби тоже заплакала. И женщина, и чтец Корана не смогли сдержать слёз. У Хусниджамал-эби прихватило сердце. Её напоили холодной водой и уложили. Сагадат неотрывно смотрела на покойного. Он словно собирался сказать ещё что-то. Слова отца: «О Аллах, убереги от греха!!! О Аллах, дай счастья!!!» – звучали в её ушах.

Через некоторое время женщина встала и принесла «Хафтияк». Она положила книгу рядом с изголовьем Шарипа-бабая. Старик принёс старую скатерть, которой вчера укрывал таз с редисом, и накинул на лицо покойного. Опершись на сундук, Сагадат задумчиво смотрела на отца, в голове у неё роем кружились мысли.

Вскоре часы пробили пять раз. В разных углах казармы зажглись огни. Тут и там народ начал подниматься. Каждый подходил и тихонько расспрашивал о случившемся. Все сочувствовали несчастным. Огни казармы сегодня светились ещё печальней прежнего. И ветер на улице, так буйствовавший ночью, притих, словно не смел нарушить покой людей в столь трудный для них день, последний день Шарипа-бабая.

Подошла и старая нищенка, которая вчера рылась в своём узелке. Юная девушка, плескавшаяся в лохани, долго стояла возле Сагадат, не зная, что сказать. Она размышляла, не отдать ли несчастным своё мыло. Подошёл даже парень, который вчера был пьян и избит. Он тихо опустился на колени и стал читать суру из Корана. Даже он казался теперь Сагадат родным человеком. Она простила ему вчерашнее непристойное поведение. Женщина, которая, готовя еду, всё время пробовала из казана, позвала Сагадат с Хусниджамал-эби к чаю. Старуха искавшая в одежде вшей, порывшись в своём барахле, извлекла несколько сухих ягод инжира и бросила в кружку Хусниджамал-эби. Сагадат она потрепала по спине. Во всех углах люди обсуждали, как похоронить Шарипа-бабая. Парень, игравший вчера на гармонии, и товарищ его заказали могилу. Владелец редиса со стариком, коловшим дрова, отправились просить у баев денег на саван, ломового и кирпичи. Женщины, жившие в казарме, принялись завешивать угол занавесками, шальями, платками, чтобы было где обмыть покойного. Некоторые из них принялись греть воду и начищать кумганы. Одна из старух раздобыла где-то даже немного гвоздичного масла. Все были озабочены, серьёзны, никто не остался равнодушным.

Хусниджамал-эби, хотя и чувствовала себя неважно, всё же была на ногах и всем давала какие-то советы. Сагадат тоже всё время что-то делала. Она с благодарностью смотрела на женщин, все они казались ей сегодня очень хорошими, хотелось сделать им какой-нибудь подарок, она давала в душе зарок всю жизнь служить каждой из них верой и правдой. К обеду вернулись старики. Материю на саван им дали, однако денег добыть не удалось. Жаловались на каких-то баев (они называли их по именам), которые заставили долго ждать ответа, а потом выставили, велев прийти завтра. Сагадат слушала их с искренним удивлением... Да и как не удивляться,

если низко павшие люди, потерявшие последнее, ведут себя как святой Хозыр-Ильяс, который в облиии нищего спешит на помощь, и готовы делиться последним. А баи, считающие себя образцом нравственности, гонят бедняков прочь, когда те приходят к ним с просьбой? Так кто же из них лучше?

Наконец пришло известие, что могила на кладбище готова.

Близился полдень. Надо было спешить, чтобы успеть вынести покойника на обряд отпевания, который совершался во дворе мечети. У мулл время тоже ограничено. Они ждать не будут. День короток. Надо успеть засветло предать тело земле. На кирпичи денег не было, поэтому старики решили обойтись без них. Оставалось найти где-то деньги на ломового. На сенном базаре вряд ли удастся найти его, а потому женщины и старухи казармы, собирая по копейке-по две, наскребли-таки восемьдесят копеек. Старики принялись обмывать Шарипа-бабая. После того, как с этим было покончено, его завернули в саван. Сагадат, видя, как Хусниджамал-эби и другие люди прощаются с отцом, снова расплакалась, поцеловала его в лоб, и покойного вынесли. Сагадат, глотая слёзы, проводила отца до мечети, хотя одета была слишком легко. Девушка не могла уйти – стояла на улице и наблюдала за женой через решётку. Обряд завершился, и отца унесли. Вот он уходит от неё всё дальше, пока вовсе не исчез из виду.

С горя Сагадат плохо понимала, что происходит вокруг. Послушавшись женщин, она пошла за ними в казарму. Там пахло гвоздичным маслом. Подвернув юбки до колен, женщины старательно мыли красными от холода руками место, где обмывали отца. В казарме было тихо. Большинство мужчин пошли на похороны, другие были на работе. От бессонной ночи и переживаний у Сагадат сильно разболелась голова, к тому же во время похорон она, похоже, простудилась. Её знобило. Пришло время намаза икенде. Весь казарменный народ принялся за молитву. И это был не обычный намаз с заученным бормотанием «Фатихи» и «Ихласа», машинальным покачиванием в такт вперёд и назад. Этот намаз давал утешение, принося исстрадавшимся душам облегчение и надежду. Вот повсюду, тут и там, зашумели самовары. Густой пар, клубясь, поднимался вверх, словно раскалённые газы из жерл вулканов. Всюду позвякивали чашки. Их готовили для мужчин, которые должны были вернуться с кладбища. В душах людей, словно осадок в замутнённой воде, постепенно оседали всколыхнувшиеся за день переживания и волнения.

С похорон вернулись продрогшие и проголодавшиеся мужчины. С жадностью уминая еду, они рассказали, что могила случайно оказалась в очень хорошем месте кладбища, принадлежащем богачам Бикметовым. Муэдзину и кладбищенскому сторожу досталось за то, что отдали могилу чужому. К чаю позвали и Сагадат с мамой, но Хусниджамал-эби после стольких волнений и слёз почувствовала себя хуже и задремала. Сагадат от приглашения не отказалась.

Смерть, хлопоты, связанные с ней, странным образом сплотили людей, ютившихся в казарме. Теперь многие сидели вместе и мирно пили чай. Не верилось, что ещё вчера они грызлись из-за места или казана, обзывая друг друга последними словами.

Огонь в очаге погас, вечерело. Люди, насытившись, стали расходиться, принялись за свои дела. Наступил вечер, и стало темнеть. День выдался беспокойный, люди устали и начали готовиться ко сну. Девочка, что мылась с мылом в лохани, спросив разрешения у матери, легла к Сагадат. Та зябко ёжилась, и девочка укрыла её своим бешметом.

Из всех углов слышались тихие голоса, читавшие суры Корана. Позже всех, как и вчера, молитву завершил старик, владелец редисок. Он опять долго читал Коран, потом задул огонь и лёг. Стало тихо. Не звучала гармонь, не слышна была ругань, даже ветер не злобствовал сегодня, грозя опрокинуть мир, свирепо громяхая окнами и крышей. Ночью девочка несколько раз кутала Сагадат, спрашивая: «Тебе не холодно?» и наконец уснула. Хусниджамал-эби стояла во сне. Прислушиваясь к грустным звукам, убаюканная тишиной Сагадат тоже погрузилась в сон. Утром она проснулась с головной болью, тело горело. Больная Хусниджамал-эби лежала, как всегда, тихо. Попив со старухами чаю, Сагадат почувствовала облегчение, но к

вечеру ей стало хуже. Следующую ночь она провела в бреду, а утром не смогла подняться. Мать и дочь обе оказались серьёзно больны. Не было у них, кроме Аллаха, никого, во всём белом свете ни единой родной души, ни крошки еды. Мало того, что семья Шарипа-бабая оказалась в жалкой казарме, согревавшейся лишь человеческим теплом, несчастные женщины были совершенно заброшены, нищи, лишены всякой помощи. Надеяться им было не на кого, впереди ждала лишь голодная и холодная смерть, как того бедолагу-кота, которого выбросили в лесу в трескучий мороз за то, что пачкал в доме. Кот перепортил много вещей и был наказан, но расправились с ним не такие, как он, существа, а люди – те, что называют себя венцом природы; люди, которые могли бы проявить такие прекрасные качества, как великодушие и милосердие, ведь Всевышний наделил их ими. А за что терпели муки немощная старушка и девочка, лишившаяся единственного своего заступника, милая Сагадат с её добрым и отзывчивым сердцем? Как же могли допустить те, что живут свободно и богато, считающие себя высококонрастными, чтобы эти двое оказались на обочине жизни и были обречены на гибель? Этого я не могу понять! Нет, не могу!

Болезнь Сагадат день ото дня становилась серьёзней.

У Хусниджамал-эби резкого ухудшения не наблюдалось, но силы её таяли из-за потери мужа, из-за болезни Сагадат, а также из-за отсутствия должного ухода. Всё это происходило на глазах обитателей казармы. Старая нищенка поила больных настоем душицы, курильщица следила за чистотой постели, и девочка, что мылась с мылом, не отходила от Сагадат, сидела около неё целыми днями. Старик приносил им редис, старуха, рывшаяся в своей одежде, нередко извлекала из вороха тряпья нечто наподобие яблока или высохшую черносливину, а иногда давала кусочек балиша или паштета, правда, прежде чем получить такое угощение, надо было выслушать подробный рассказ о том, какая служанка в доме какого бая подала его. Парень, игравший на гармонии, писал на дне тарелки какие-то молитвы, потом смывал их и давал выпить, а любительница пробовать суп из казана, случись ей снова приготовить что-нибудь, кормила Сагадат и Хусниджамал-эби горяченьким. В общем, хоть никто на свете о них и не вспоминал, обитатели казармы без присмотра не оставляли и старались хоть как-то облегчить положение больных. Женщины заменяли им сестёр милосердия, а мужчины докторов. В помощи не отказывал никто.

Мать с дочкой продолжали болеть. Хусниджамал-эби с каждым днём становилось всё хуже. Сагадат по вечерам металась в жару и бредила в забытьи. День шёл за днём, улучшения не было. Обе уже не могли есть, и надежда на их выздоровление таяла. Каждую ночь старухи и женщины дежурили возле больных и были готовы к тому, что обе вот-вот умрут, будили временами старика, чтобы почитал им отходную суру из Корана. Но они не умирали, и легче им не становилось. Шёл седьмой день со дня смерти Шарипа-бабая. В казарме тихо отметили его, почитав в память об усопшем Коран. Хусниджамал-эби осознавала, какой это день, слушала молитвы, которые читал старик, и даже поднесла вместе со всеми ладони к лицу, зато Сагадат была в тяжёлом забытьи, тело её горело. Временами она вскакивала и кричала: «Защити от дурного! Дай силы выстоять!! Дай мне счастья!!» Тут же звала кого-то: «Адаш-абыстай, адаш-абыстай!» («тёзка»). Потом гнала кого-то прочь, как видно, собаку: «Пашул, пашул!!» и в страхе жалась к стене. Временами громко пела: «Не плачь, родная! Такая уж у нас судьба!» Потом принималась перечислять имена джигитов, о которых, как видно, думала. Кричала, ругала кого-то.

Девочке, сидевшей рядом, велела открыть крышку подпола и выпустить джигита. Приказывала достать из-под одеяла и повесить новое неношеное платье, принималась рыдать о расшитом жемчугом калфаке и серой шали, которые у неё якобы украли, то видела себя в каком-то саду, где рвала цветы, то ей казалось, что её обнимает очень красивый джигит и было видно, как ей хорошо в его объятиях. Потом, обессилев, лежала тихо-тихо.

Какой дивный мир! Зелёные луга, извилистые речки, где-то вдали слышатся звуки коло-тушек, отбеливающих холсты, и тут же будто дополняют их трели соловья. Тепло, странное, блаженное тепло разливается по всему телу, ей очень хорошо. Отец привычно попыхивает трубкой, но она совсем не чувствует неприятного запаха. Тут же дочка муллы. На душе такая радость, Сагадат счастлива, ничто не омрачает её блаженства. Никогда в жизни не испытывала она такой неги, словно попала в иной сказочно-прекрасный мир, какого нет на всём свете. Утром она осознала, что очень больна, что отца на обычном месте нет, – видно, ушёл куда-то или не вернулся ещё из мечети. Мысли в воспалённой её голове путались, события прошлого переплетались с настоящим.

Девятый день прошёл, а она всё не приходила в сознание. Перед мысленным её взором возникли какие-то люди в белых одеждах и гонялись за Сагадат и её мать по лесу. Сагадат звала на помощь отца: «Эти! Эти!» Мать уже поймали, а тут явились полицейские и хотят схватить их за то, что не уплатили за квартиру, и уж уводят мать. Сагадат с криком набросилась на них, дралась изо всех сил и уж одолела, но тут, похоже, земля поглотила её, она увидела себя посреди непроницаемой черноты. Нет ни лучика света и людей никого – от страха всё её тело дрожало, и она кричала: «Спаси меня! Дай мне счастья!» И снова очнулась в тёплом, светлом прекрасном мире, снова блаженство и покой снизошли на неё. Утром Сагадат открывала глаза, горячий пар туманил её взор. Над головой торопливо сооружали полог. Непонятно, зачем. Ведь совсем недавно уже был такой. Когда же это?... Точно такой полог, а из-за него доносился знакомый запах, напоминавший Сагадат о чём-то очень грустном. Потом она опять уносилась в мир сладких грёз. Снова открывала глаза и видела что-то длинное и белое. Может, холст, расстеленный в ауле на снегу? Непонятно, что. И снова погружалась в иной мир, падала в чёрную яму и кричала.

Так в беспмятстве, не в силах отличить день от ночи, встретила она тринадцатый день болезни. Снова бродила в чудесном, полном блаженства мире, летала, окуналась в воду. Потом вдруг открыла глаза и выдохнула: «Уф!» Женщины, старухи окружали её. Возле головы сидела знакомая девочка. Слабый огонёк лампадки проливал печальный свет. Из всех углов казармы доносились сопение и храп спящих.

Женщины и старухи жалобно глядели на неё. Сагадат, не сразу догадавшись, где она, обвела их взглядом, желая вспомнить, кто это. «Слава Аллаху, пропотела», – услышала она и почувствовала себя с головы до ног в воде. Память медленно возвращалась к ней, и она вспомнила, как они приехали в Казань, как их выгнали из квартиры, но казарму вспомнить никак не могла. При скудном свете лампы она, не узнавая, разглядывала столбы, подпиравшие своды, и они казались ей огромным многоголовым существом. Она вспомнила о смерти отца, вспомнила грезившиеся ей прекрасные сады и джигитов, в объятиях которых ей было так хорошо. А что потом? Она не знала. Но вот в памяти возникли люди в длинных белых одеждах, полицейские, и тут она вспомнила о матери. «Где она?» – подумала Сагадат, и вдруг непонятно как, но её поразила догадка, что Хусниджамал-эби больше нет. Она ещё раз заглянула в опечаленные глаза женщин, хотела сказать что-то, уж пошевелила губами, но тут же забыла о своём намерении. Кто-то спросил знакомым голосом: «Сагадат, ты пить не хочешь?» Она подняла глаза, сказала: «Хочу», – и приняла из их рук чашку с водой. Попив, она чуть-чуть расслабилась, и уже в следующую минуту снова погрузилась в забытьё.

Она вернулась в тот дивный край. Грохочет гром, сверкнула молния, полил дождь. Сагадат на улице, промокла насквозь. Но вот и солнышко, и уж снова блещет летний день! Зелёная травка. Сколько разных бабочек, как много птиц поют, свистят и щёлкают. Какое счастье! Вот Шарип-бабай говорит: «О Аллах, дай нам сил! О Аллах, дай счастья!» И Хусниджамал-эби с Шарипом-бабаем пошли и скрылись вон там, за тёмным лесом. Адаш-абыстай увидела это и обняла Сагадат, назвав её по имени. На возглас: «Сагадат!» – она проснулась. Посмотрела по сторонам и всех узнала. Глаза девочки, которая провела рядом с ней много бессонных

ночей, покраснели. Посмотрела на место, где лежала мать. Её там не было. Сагадат вспомнила запах гвоздики, нечто белое, длинное, показавшееся ей расстеленным на снегу куском холста, и поняла: то была её мать, завёрнутая в саван. Она взглянула на девочку и спросила: «Эни умерла, да?» У той вместо ответа потекли из глаз слёзы. Она наклонилась к Сагадат и поцеловала её в мокрый лоб.

Слёзы девочки, её поцелуй тронули Сагадат так, что она готова была пожертвовать ради неё всем, даже жизнью. Это были не просто слёзы, не просто поцелуй, а нечто большее, исходящее от чистого сердца, из глубины невинной души. То было выражением искренней готовности делать для Сагадат всё, что в её силах, и глубоким сочувствием большому горю. У Сагадат навернулись на глаза слёзы. Она взяла руку девочки и крепко пожала, глядя на неё с благодарностью. Хотела сказать что-то, не смогла – по щекам покатались слёзы. Девочка всё поняла, слова для этого были не нужны. Она видела, как благодарна ей Сагадат и поклялась в душе по возможности не разлучаться с ней. В то мгновение раскрылись лучшие черты обеих девушек, они нашли друг в друге верных, любящих подруг. Когда подобное случается между мужчиной и женщиной, это непременно влечёт за собой вспышку яркой, сильной любви, на короткое или продолжительное время. Между двумя мужчинами или двумя женщинами такое единение порождает вечную дружбу, которой не бывает конца. Как правило, такие пары не разлучаются и становятся друг для друга надёжной опорой. Девушка, тонувшая в реке и случайно спасённая, придя в себя, узнаёт, кто её спаситель, и протягивает джигиту руку, что равносильно клятве в вечной любви. Изувеченный сын падишаха, брошенный в лесу, влюбляется в крестьянскую девушку, которая выхаживает его, приведя к себе в дом. Всё это происходит оттого, что людям свойственно испытывать нежную привязанность к ближнему, когда в нём обнаруживаются редкие человеческие черты. Они верят, что встретили лучшего человека на свете.

Оплавав утрату, Сагадат вскоре снова уснула. Проснувшись, она села с помощью своей подружки и увидела, что спала на месте матери. Из глаз снова покатались слёзы. Она плакала, а память рисовала картины детства, как она с девчушками пасла у ручья гусей и все они хором кричали: «Кыш, коршун, кыш! На лапу тебе листок, на другую железа кусок, чтоб вовеки снять не мог!» Как перед отъездом в Казань, плача и обнимаясь, прощалась с абыстай и своей тёзкой, дочерью муллы Сагадат. Потом вспомнила, что осталась без отца и матери, нищая и больная, без защиты среди чужих людей, таких разных и непонятных. Она обдумывала своё положение со всех сторон и ничего хорошего не видела. Из глаз, не переставая, лились слёзы. Тосковала по отцу, по матери, скучала по аулу, по семье муллы. Сагадат было очень тяжело, и всё же мысль о смерти ни разу не пришла ей в голову. Она думала о том, как жить дальше и как стать счастливой.

Молодость брала своё, и Сагадат крепла с каждым днём. У неё прекрасный аппетит: ей мало было половины добытого старушками-нищенками, так она ещё умудрялась съесть почти половину того, что готовили в казарме – ну, если не половину, то третью долю уж наверняка. Прошло какое-то время, и она перестала молчать, начала улыбаться. Она, казалось, снова вернулась в детство. Иногда всё же, вспомнив отца с матерью, долго и горько плакала. Прошёл месяц со дня смерти отца. Сагадат начала вставать, ходить. Но это была уже не та Сагадат. Её некогда густые чёрные волосы теперь похожи были на козий хвост. И хвост этот тончал с каждым днём. Её личико нельзя было назвать совсем уж пожелтевшим, однако куда подевались яркие щёчки-яблочки, какие были два месяца назад? И глаза провалились куда-то. Она пока не могла заработать себе на пропитание и ела то, что приносили в казарму другие, а потому чувствовала себя больной нищенкой. Каждое утро она провожала старушек на промысел, а вечером выслушивала их рассказы о том, как удалось им заполучить тот или иной ломоть.

Оттого что Сагадат была ещё очень слаба, её подружка по большей части сидела с ней – того, что приносила её мать, было вполне довольно – и на работу уходила редко. «Работой»

её было побираться на похоронах. Лишь когда покойник был состоятельным человеком, ей не хотелось упускать возможность хорошо пожить. Разговаривая с Сагадат, она всегда делала что-нибудь – шила либо занималась другой работой. С малых лет эта девочка была окружена людьми, подобными обитателям казармы, а потому такая жизнь вовсе не казалась ей ужасной – всё, что происходило вокруг, было для неё вполне привычно. Видеть тёток из казармы с какими-то мужчинами, слышать, как они в присутствии стольких людей без всякого стеснения предаются воспоминаниям о своей грешной молодости, хвастливо перебирая имена мужчин, с которыми имели дело; наблюдать как мужья с жёнами вскакивают среди ночи и принимаются чем попало тузить друг друга; как мужчины помоложе затевают на улице драки с пьяницами, подобными себе, – всё казалось ей делом обычным, принятым повсюду. Однако у Сагадат такая жизнь вызвала отвращение, и она сильно сомневалась, сможет ли и дальше жить среди этих людей.

В то же время она была многим обязана окружающим. Эти обездоленные были так внимательны к ней, выходили её, помогли отцу, матери. Как же могла она бросить их теперь, когда стала здорова? Это было бы, по её понятиям, чёрной неблагодарностью.

Если бы даже и решилась уйти, то куда она пойдёт, где будет жить? Она бы с радостью вернулась в дом муллы, но как одолеть двести вёрст без одежды, без денег, зимой? Всё сводилось к тому, что ей придётся продержаться здесь ещё какое-то время. Старик с редисом каждый день интересовался её здоровьем и давал что-нибудь из еды. Он обещал: «Не горюй, я найду для тебя место служанки», – и в самом деле повсюду искал ей работу. Новая подружка, что не раз ходила к домам баев за закятом⁴, рассказывала, что там собирается огромная толпа нищих. Приказчики выбирают девушек и уводят с собой. Попасть в число этих счастливиц – большая удача, потому что им дают много денег. Вот поправится Сагадат, они вместе смогут ходить туда. Девочка говорила так, словно это была единственная возможность пробиться в жизни.

В сознании каждого человека молодость и всё, что связано с ней, – увиденное, прожитое, сделанное, – оставляет в душе незабываемый след. Даже дурные дела и неприглядные обстоятельства, рассматриваемые сквозь туман прошлого, смягчаются и остаются в памяти как нечто привлекательное и милое сердцу. Вот и девочка эта, жизнь которой прошла в нищете, не видела ничего особенного в том, что дворники мётлами отгоняют их от ворот байских домов, а то, что хитрые приказчики наговаривают подобным девушкам всякий вздор, способный взволновать их сердца, казалось ей счастьем. Сагадат не видела в таком деле ничего хорошего, однако слушала девочку, не прерывая, потому что понимала, что рано или поздно ей придётся пойти туда. Другого способа существования не было. И вот в одну из пятниц, почувствовав себя вполне сносно, она отправилась с девочкой за закятом.

⁴ Закят – подаяние, обязательное для богатых мусульман в пользу бедных.

2

Разыя-бике принадлежала к известному в Казани богатому роду потомственного почётного гражданина Бикметова, имела большие владения и отличалась примерной рассудительностью. Вот уже восемнадцать лет она была вдовой, но имение своё содержала в образцовом порядке и, поскольку лишних расходов не любила, богатство её со временем только увеличивалось. Дети, оставшиеся от старого бая Бикметова, – Зарифа, Фатыма и младший Габдулла, – должны были стать наследниками миллионного состояния. Дочерей Разыя-бике отдала замуж в самые именитые семьи и оставалась теперь лишь с сыном. Габдулла не помнил отца, поскольку в год смерти бая был грудным младенцем. Вырос он под присмотром матери. Единственный сын, единственный братец у сестёр, прелестный ребёнок рос большим баловнем.

Габдулла-эфенде владел завидным богатством, а потому люди всегда были к нему неравнодушны. Как и прочие мальчишки, с семи лет стал ходить в приходское медресе. Начав с букваря, он к семнадцати годам проштудировал книги: «Тухфательмулюк», «Сагдук», «Шахре Габдулла» и «Энмузаж». По утрам ходил с сумкой к хальфе, с девяти часов до двенадцати был занят учёбой. После обеда играл, потом, захватив сумку, снова отправлялся на вечерние уроки и через два часа был дома. Чаще всего по вечерам хальфы в медресе не было, и мальчишки затевали «Выставку цветов» или другие игры.

По четвергам утром Разыя-бике давала сыну двадцать копеек со словами:

– Смотри же, не потеряй, отдашь хальфе! Скажи, что мама просит его помолиться.

Габдулла выполнял всё в точности, как наказывала мать. За семьдесят копеек жалования хальфа должен был выучить её сына всему, что могло пригодиться при управлении обширными владениями. Иногда, раз в месяц или два, Габдулла приносил в какую-нибудь из пятниц блины, говоря: «Это Вам за отца». Изредка хальфу возили на кладбище, чтобы почитал молитвы, давали за это пятьдесят копеек, а потом везли в дом и кормили обедом, приговаривая: «Бике приказывала старательно обучать её сына» и добавляли ещё пятьдесят копеек. Кроме того, во время священного Рамазана звали на разговенье после уразы и вручали фунт чая, ценою один рубль, для раздачи ближним, и три рубля деньгами. Габдулла был озорным мальчиком и очень любил забавы. Однако наказывать его было нельзя. Он тут же в слезах бежал к матери, и та, явившись в медресе, грозилась забрать сына, чем приводила хазрата в ужас.

Так что в медресе, которое и без того отличалось излишней вольностью нравов, для Габдуллы никаких запретов не существовало. Он проказничал, не боясь никого. Таким образом он провёл в медресе три года и дошёл до «Фазаилешшехура». Осенью Разыя-бике вызвала хальфу к себе и, дав ему пятьдесят копеек садаки, попросила позволить её сыну оставаться в медресе на ночь, выразив надежду, что это, возможно, пойдёт ему на пользу, и хальфа, посоветовавшись с хазратом, разрешил. После этого Разыя-бике отвела Габдуллу в медресе, дав ему белоснежную подушку и напутствовав, чтобы бережно расходовал чай и не слишком много съедал сахара. Хальфе такое решение тоже пришлось по душе, потому что теперь он мог бесплатно пользоваться чаем и сахаром. Кроме того, каждый день от Бикметовых поступал в маленькой миске обед. Хотя наестся этим было нельзя, зато можно было знать, что готовили сегодня в доме Разыя-бике на обед.

Итак, Габдулла-эфенде стал жить в медресе. По четвергам он забирал свою сумку и уходил домой. Мать сразу же снимала с него рубашку и давала чистую. Вечером он мылся в бане. Вещи в медресе никогда не пропадали. Стирая штаны Габдуллы, служанки обнаруживали в них следы сажи, которую не могли отстирать, как ни старались, и не могли понять, для чего понадобилось прятать уголь в таком месте. Лето Габдулла-эфенде проводил со своей родительницей в усадьбе.

Достигнув семнадцати лет, он решил, что получил все знания, какие считал для себя полезными, имеет полное представление о жизни, и бросил медресе. Осенью бике, позвав хальфу, просила его помолиться, дала фунт чая и получила разрешение на выход сына из медресе, а чтобы хальфа не оказался в убытке, отдала ему на обучение внука, пятилетнего сына Зарифы, хотя по месту жительства они и относились к другой махалле, Бике выразила надежду, что мальчика будут обучать по той же программе, что и Габдуллу. Хальфа снова стал получать свои восемьдесят копеек, изредка блины и фунт чая в месяце Рамазан. Служанки Разыи-бике наконец избавились от стирки испачканных сажей штанов, зато служанки Зарифы обрели эту головную боль.

Во всём мире происходили какие-то перемены, одному бедняге хальфе было отказано в этом. Из года в год всё то же медресе, та же должность, те же занавески, те же приглашения на ифтар – разговенье в дни Рамазана, всё те же рассказы шакирдов, хваставшихся, вернувшись из дома, какой вкуснятиной кормила их мать (после них у хальфы начинались спазмы в желудке и обильное слюноотделение), всё тот же байский сынок, за которого ему полагалось восемьдесят копеек в неделю. Всё то же навязшее в зубах «Фазаилешшехур». Не было у такой жизни ни будущего, ни прошлого. Десять лет он обучал и выпустил Габдуллу и точно так же будет обучать и выпустит когда-нибудь сына Зарифы-бике. Если к тому времени порядок обучения не изменится, возможно, точно так же придётся обучать и сына Габдуллы. Эти бедолаги хальфы так и проводят всю жизнь в мечтах о невозможном, ничего не имея за душой. За ложным обаянием слова «учитель» скрывался всего лишь человек, имевший весьма скудные представления обо всём, непригодный ни к чему и погубивший в итоге свою жизнь. Поистине жалкая, очень жалкая судьба!

Разыя-бике, считая, что дала сыну достаточное образование, стала поговаривать о паломничестве в Мекку, поскольку все остальные важные в жизни дела она уже завершила. Габдулле по молодости ещё нельзя было доверить хозяйство, поэтому она срочно оформила брак со своим приказчиком, мужчиной лет сорока с сальными глазами, и в начале месяца Рамазан отбыла в хадж. Злые языки говорили, что поездка в хадж была лишь хитростью, предлогом. Всё дело, якобы, заключалось в том, что бике страсть как хотелось замуж. Недаром же они с приказчиком целую неделю провели в Москве, хотя дел там особых не было. Как бы там ни было, в хадж Разыя-бике всё же отправилась. Она пробыла там довольно долго и пустилась в обратный путь, но, прибыв в Нижний, заболела. Проболев неделю, Разыя-бике вернулась домой, однако её недельное пребывание в другом городе дало новый повод для злословия. Хадж завершился таким вот образом.

Габдулла, уйдя из медресе, стал появляться в обществе. Из-за плохого воспитания он частенько пренебрегал правилами пристойного поведения, однако уважаемые люди города этого не замечали, ведь они некогда и сами грешили тем же.

Несмотря на прижимистость, мать выполняла просьбы Габдуллы, а потому деньги у него водились. Его дружки-приятели были такими же байскими сынками. От нечего делать они нередко заглядывали туда, где им бывать не полагалось. Габдулла от них не отставал. В доме Разыи-бике работали хорошенькие служанки. Редко кому из них удавалось вывернуться из рук Габдуллы. Бике видела всё, но не вмешивалась, считая, что сыну это не повредит. Если она замечала, что у кого-то из прислуг начинал пухнуть живот, она начинала придирается к бедняжке, бранить её и в конце концов вынуждала уйти.

Благодаря такой ловкости своей родительницы Габдулла-эфенде проводил молодость в удовольствиях, не брезгуя ничем. Бывая с приятелями у проституток, он вначале стеснялся, делал вид, что не имеет к ним никакого отношения, но со временем стал открыто появляться в вертепах, которые шакирды называли между собой «махаль». Разыя-бике, жалеющая за обучение сына больше восьмидесяти копеек, на такие дела не скупилась. Впрочем на известные заведения Габдулла тратил не слишком много и пока ещё не удостоился за своё беспутство

всеобщего осуждения. Ведь служанки у матери не переводились и тратиться на них не было нужды. Как и все баи, Разыя-бике раздавала по пятницам милостыню. Возле дома собиралось много людей разных возрастов, были и девушки, среди которых встречались вполне симпатичные. Когда надо было, Габдулла-эфенде указывал дворнику на девушку, привлёкшую его внимание, и велел отводить её в дворницкую. Он делал это не потому, что испытывал недостаток в женщинах, а просто из желания разнообразить, так сказать, своё «меню», и выбирал молоденьких свеженьких девочек, которых ещё не касались чужие руки, – жалко было упустить такую добычу. Перед раздачей милостыни голытьбу загоняли во двор. Там с балкона он мог разглядеть всех и выбрать ту, которая покажется наиболее приветливой. Милостыня её ждала больше, чем полагалось другим. Слуги, подражая хозяину, поступали так же. Правда, они были не столь привередливы и по большей части выбирали одну и ту же девушку, тогда как Габдулле-эфенде из пятницы в пятницу требовалось обновление. Повторений он не терпел.

Иногда сюда приходили и дружки Габдуллы-эфенде. Они так же заводили своих избраниц в дворницкую, угощали их, заставляли плясать и, заплатив, отпускали. Они занимались этим лишь от скуки, чтобы как-то заполнить досуг. Большинство девушек шли с ними, не представляя, что их ждёт, а потом, когда начинали понимать, что к чему, не умели постоять за себя или из страха делали, что им скажут.

Вот так развлекался Габдулла по пятницам. Может, и не каждую пятницу, но довольно часто. Вечерами болтался с друзьями там и сям, а ночью, осторожно ступая, чтобы не слышала мать, крался к служанкам.

Шакирдом Габдулла-эфенде не посещал училища, а потому не умел свободно говорить по-русски. Он объявил матери о своём желании учиться русскому языку. Та не возражала. И Габдулла, по совету друга, стал брать уроки у молодого человека по фамилии Аллаяров.

3

Мансур-эфенде Аллаяров обитал в районе Плетеней, где за маленьким магазином в переулке снимал комнату с единственным окном, на облупившихся стенах которой, окрашенных некогда в голубой цвет, были заметны следы былой лепнины. В узенькой комнате стояла деревянная кровать, а у окна топорной работы стол. Окно было довольно высоким, на подоконнике стояла лампа с голубым абажуром в виде шара, чернильница. На полке для икон, оставшейся после русских жильцов, стояли книги Мансура-эфенде на русском, турецком, арабском и татарском языках. Потолок когда-то был оклеен глянцевой белой бумагой, но теперь под действием жары бумага в некоторых местах полопалась и свисала лохмотьями. Кроме этого, в комнате стояли два деревянных стула, где лежали бумаги Мансура-эфенде, на кровать была брошена одежда, а ещё под кроватью был чемодан. Как комната с её обстановкой, ничем не напоминавшая татарское жильё, так и сам её хозяин, двадцатидвухлетний Мансур-эфенде своим внешним видом, одеждой, а также и убеждениями совершенно не был похож на наших болгарских (татарских) джигитов. Его кровать начинала скрипеть уже при одном приближении к ней. Стол едва держался на ножках, и казалось, достаточно положить на один его край какой-нибудь тяжёлый предмет или просто опереться, как он рухнет и всё, что на нём стоит, посыпется на пол. И на стульях надо было сидеть прямо, не шевелясь, иначе стул вместе с сидящим на нём приходил в движение и, если человек не был предупреждён заранее, он рисковал удариться головой об пол. Вошедшему с улицы в нос ударяла ужасная смесь запахов, исходящих от лохани под дверью, от стоящей тут же бочки, провонявшей грибами, и детского горшка, источавшего кислый дух. Если, преодолев всё это, удавалось пройти в комнату, там встречал приветливый хозяин жилища Мансур-эфенде, сияя лицом, словно жених, приготовившийся ехать к невесте. Он смотрел на вошедшего с некоторой тревогой, боясь, как бы тот не поломал его кровать. Человек, знакомый со всем этим, тут же, при входе, успокаивал хозяина: «Не бойся, я не поломаю твою кровать», и садился на стул или осторожно опускался на то место кровати, которое снизу было подперто поленом. Случалось и так, что хозяин забывал предупредить новичка, и тот, не успев ответить на вопрос: «Здоровы ли вы?», с грохотом проваливался на пол. Хозяин не бранился, да и гости тут были такие, что подобные мелкие конфузы им были привычны. Они вместе принимались устраивать ложе. Когда в комнате, помимо хозяина, оказывалось двое гостей, волей-неволей приходилось садиться на кровать. Было известно, что двоих она точно не выдержит, а потому кровать разбирали и устраивались на её обломках. Комнатёнка была тесная, мебель в ней ветхая, но и за неё Мансур-эфенде порой не мог платить месяца по два. Иногда сутками приходилось держать строжайший пост. Но чаще молодёжь здесь весело гоняла чай у поющего самовара. Хлеба у них было в достатке и даже медком нередко баловались. В комнатухе плавал густой табачный дым, так что голоса парней слышались, а разглядеть лица было нельзя.

И кто только не бывал в этой комнате! Какие только речи здесь не звучали, какие проблемы не решались! Приходили шакирды, недовольные хазратами, учителя, ученики школ, сынки казанских баев, какие-то юноши, изгнанные из медресе, девушки-вышивальщицы калфаков и ещё много других людей.

К хозяину комнаты являлись в гости, приходили за советом, заглядывали по-свойски, чтобы поговорить о судьбах нации. Мансур-эфенде для каждого находил нужные слова, со всеми был приветлив и, провожая, неизменно говорил: «Заглядывайте ещё, буду рад!» Проводив очередного гостя, он поправлял полено под кроватью и принимался за свои дела до прихода следующего визитёра.

Трудно пересказать, о чём тут говорили, какие проблемы решали, начав с джадитского обучения в медресе и открытия болгарских (татарских) школ, приступали к обсуждению бул-

гарской литературы, выявляли недостатки нации, высказывали мнения по поводу её будущего, рисовали картины идеального болгарского общества. Обсуждая вопросы религии, говорили об ишанах, духовенстве и в конце концов задавались вопросом: не является ли ислам тормозом, мешающим продвижению общества вперёд. Такие разговоры обычно кончались яростными спорами и криком. Иногда разговоры о теперешнем положении нации, горькие и безысходные, напоминали плач и кончались печальной песней, которую затягивал кто-нибудь, будто говоря: нация гибнет, хоть песню спеть на прощание. Все слушали певца и очень долго молчали, погружившись в свои переживания. Вот бы проникнуть в такую минуту в сознание этих болгарских парней! Посмотреть бы, что у них в голове! Один, конечно же, в душе клянётся, что по окончании школы станет учителем и посвятит себя служению народу, обучая молодёжь и стариков. Мысли уносятся вперёд, и он видит, как его ученики становятся образованными людьми, их дети, разумеется, учатся тоже, и молодой человек радовался своей мечте – наполнить достойным содержанием жизнь людей. Другой думает так: «Никто до сих пор не написал ничего путного, читать нечего. Нет пищи для души. Народ духовно обнищал, ни на что не годится. Буду писать, писать всё, что позволит людям возвыситься нравственно, – пьесы для театра, например, – покажу народу, как плохо мы живём, и тем буду ему полезен. Какое широкое поле деятельности! Лишь бы хватило сил». Третий размышляет: «Обучусь полезному ремеслу и стану ходить из аула в аул, передавать народу своё умение и тем облегчу его жизнь». Четвёртый мечтает: «Вот как только разбогатею, открою школы, приюты для стариков и сирот».

Иногда речь заходила о нищих, которые по пятницам осаждают ворота байских домов, и молодые люди с возмущением говорили о том, что пора избавить людей от подобного позора и унижения. Они искали пути, как увеличить благосостояние народа. С сочувствием и горечью говорили об опозоренных девушках, встречающихся на улице, думали, как вытащить их из омута, куда они попали, вспоминали слова Михайловского, Толстого, Горького, сказанные по этому поводу. Философствуя, добивались до тончайших нюансов проблемы, делились мыслями, почерпнутыми из книг. Кто-то осторожно вытягивался на кровати, остальные пристраивались рядом, и начинался разговор по душам, каждый откровенно делился с друзьями, как ему видится будущее. Кто-то очень красиво рассуждал, как в своей маленькой квартире будет жить с беленькой, стройной и любящей женой, носящей калфак на голове, как будет возвращаться после необременительной работы домой, и они вдвоём станут уютно пить чай. Другой мечтал жениться на гимназистке и рисовал жизнь, какую во время праздников показывают обычно на сцене девичьего пансиона. Третий хотел бы жениться на дочке деревенского муллы, не чурающейся труда, завести козу, работать учителем, а летом с утра до вечера возиться с женой в саду. Он представлял, как вечером, на закате солнца, с женой и беспштаным сопливым сынишкой пьёт в саду чай.

Эти молодые люди как будто специально были рождены для великих свершений – каждое их слово, жест, поступки свидетельствовали об этом. Всё в них – грусть и радость – было связано с мыслями о народе. Стоило появиться какой-нибудь книге, она непременно оказывалась здесь, в этой комнате, обязательно прочитывалась и обсуждалась. Если книга нравилась, благодарили автора, а если признавали её вредной, беспощадно ругали. Была одна тема, которую они обходили стороной, – это духовенство. Никто даже в мыслях не мог представить себя муллой или ишаном, эти слова были для них оскорбительны. Слово «мулла» было синонимом «обжоры», а «ишан» – равносильно понятиям «жулик» и «шарлатан».

Они собирались иногда и в других местах – в харчевне, например, где так же вели нескончаемые разговоры о народе и его бедах. Изредка выбирались в театр, а потом подолгу обсуждали и театр, и пьесу. Мансур был душой этого сообщества молодёжи.

Иногда, лёжа на кровати и глядя на ошмётки бумаги, свисающие с потолка, на паука, снующего по ним то вверх, то вниз, Мансур уносился мыслями очень далеко. Снова видел себя в ауле зубрящим «Иман шарты» в отцовском медресе с въевшимся в стены кислым запахом;

вспоминал, как в городском медресе обтирался после омовения ледяной колодезной водой, как вдыхал запах салфетки, в которую накануне заворачивал хлеб, как весной в джиляне и штанах, называемых «манчестером», с несколькими копейками в кармане ходил на сабантуй; как шакирды на кладбище во время похорон теснили друг друга, стремясь быть поближе к мулле. Потом был переезд в Казань. Он помнил, как по дороге твердил молитву здоровья, которой в детстве научила его мать; как поразил его огромный город, в котором оказалось так много мусульман; как в медресе пугали их словом «джадид»; как до глубокой ночи читал книги: «Габдельхаким», «Мирсает», «Тахзиб», «Соллям», «Мобин тораб», тратил на них лучшие свои годы, когда знания усваиваются так легко; как был яростным спорщиком в казанских медресе. Он не забыл, как ездил в аул в чёрной каракулевой шапке, чёрном джиляне, в длинных брюках навыпуск. Мансур с сожалением думал о том, что погубил в медресе несколько лет жизни. К счастью, в руки ему попала книга из истории тюрков, которую он прочёл с великим интересом, потом стал читать газету «Тарджеман», турецкие романы «Даре рахат», «Гонахе кабир», интересовался турецкими газетами. Он помнил жаркие споры с шакирдами по углам медресе, с сообщниками они тогда тайком открыли для себя джадидские реформы просвещения. Вспоминал и первую свою любовь, невинные ласки, юношеские мечты и ожидания – всё, всё проходило перед его мысленным взором.

Дойдя до этого места, Мансур-эфенде слегка разволновался. Он знал, что такое любовь, помнил, сколько переживаний причиняла ему вначале любимая. Потом они тайком встречались в садах на окраине Казани и гуляли, тесно прильнув друг к другу. Он помнил даже запах ландышей, который исходил от неё, и, думая о девушке, снова ощутил знакомый аромат. Тут мысли его остановились, словно давая ему возможность получше разглядеть её глаза, волосы, он будто слышал её голос. А после потекли малоприятные воспоминания об измене. Он боялся думать о том, как сложится судьба его любимой, которая со слезами на глазах клялась сохранить для него девичью честь... И что потом? А потом она, обманув родителей, постаралась поступить в русскую школу, после – голод... И ещё одна любовь!.. Спокойно! Как страшно об этом думать!.. Какие угрызения совести испытывает он!.. Невинных детей отец девушки водил под конвоем, стал им злейшим врагом, отдал дочь пьянице. Всё это было заперто в тайниках его души...

Мансур горевал о том, что стал причиной несчастья стольких людей. Он вынужден был наблюдать, как отец своими руками бросил живого человека в пекло ада, а всё из-за нищеты и внезапной болезни Мансура. Его снова охватило отчаяние. Он забыл, где находится, стал метаться в бессильной ярости, пока кровать под ним не рухнула, и он не оказался на полу.

Мансур встал, и воспоминания снова охватили его. Вот он, маленький, идёт с мальчишками в огород Ишми-бабая воровать репу. Осознав свою вину, он потом несколько дней ходил напуганный, раскаивался, по многу раз повторяя перед сном молитву «тауба». Во сне Ишми-бабай размахивал палкой. Мансур просыпался в страхе и, чтобы Аллах простил его, под дождём ходил в лес за дикими яблоками. Он вспомнил, как той же осенью с длинным обозом, сидя на мешках, ездил с отцом в соседний город продавать рожь, как скрипели немазаные крестьянские телеги, как люди, шедшие за телегами, вели нескончаемые разговоры: «Ты ведь помнишь, Ахматжан, мы как-то ездили с тобой на базар. Тогда ещё была у нас бурая кобыла...» Тут кто-то закричал: «Стойте! Останови переднюю лошадь!» Лошади дружно стали, тут одна из них начала шумно мочиться на дорогу. Все другие, как по команде, занялись тем же, в воздухе распространился резкий запах. Люди интересовались: «Что случилось?» – «Да вон у Вэли, когда ехал через яму, колесо сломалось». Кое-кто из мужиков, почесав в затылке, поехал дальше со словами: «У него вечно так». На возу стало холодно, Мансур слез на дорогу и принялся бегать. Согревшись, снова вскарабкался на воз и лёг. Он смотрел на звёзды, светлый месяц, думая о своём, и уснул. Лошади снова тихонько остановились, снова вдали кто-то закричал: «За узду держи её! За узду!»

Вскоре, сверкая огнями, показался город, исчез и появился снова. Въехали в улицу. Народ здесь сплошь в ичигах и кавушах, дома красивые, не чета деревенским, на большие строения Мансур смотрел, разинув рот, все люди казались счастливыми, словно были уверены: явись теперь сам падишах, непременно остановился бы поговорить с ними. И вот тот мальчик на возу, бывший для прохожих мелюзгой, не важнее мухи, теперь мечтает просветить их, печётся об их культуре... Не додумав мысль до конца, он занялся сравнением своего теперешнего положения с возможностями тех лет. Тогда на восемь копеек они с отцом погуляли на славу. А сейчас? Нет у него в доме ни крошки, а хозяйева комнаты, едва завидя его, начинают требовать деньги. И будущее покрыто мраком неизвестности. Когда Мансур-эфенде думал, что оно может стать ещё хуже, на глаза его наворачивались слёзы. Он плакал, жалея себя, и испытывал от этого облегчение. Закончив сравнения, он углубился в мечты, представляя, как много пользы принесёт народу.

Мансур-эфенде был уверен в своём великом предназначении, и ничто не могло переубедить его. Не будь такой убеждённости, он наверняка погиб бы под грузом свалившихся на него трудностей. Он не собирался отказываться от избранного пути, а потому гибель ему не грозила.

В болгарском мире понятия «служение народу» как такового не существовало – Мансур-эфенде был творцом этого представления, и сам же стал его воплощением. Мансур-эфенде знал русский, турецкий, арабский языки, немного фарси и прочитал немало переводов и оригинальных книг на этих языках. Кроме того, много читал художественной литературы, задумывался над окружающей жизнью, обдумывал множество проблем и идей. Улучшение жизни человека, казалось ему, возможно только в соответствии с законами нравственности и совести. И конечно, по большей части он читал книги писателей, придерживавшихся таких же взглядов. Под их влиянием он с волнением клялся в душе, что сам никогда не поступится совестью.

Из русских писателей Мансур-эфенде более всего любил Тургенева, считая его самым великим русским писателем и выдающимся психологом. Читая его, он ощущал какое-то внутреннее возбуждение, а после прочтения чувствовал себя другим человеком, не похожим на прежнего Мансура-эфенде. Потом он долго ходил в задумчивости взад и вперёд по комнате. Иногда ему было даже досадно, что столь важные и простые мысли родились не в его голове, а у Тургенева. Мансур не уставал хвалить романы «Новь», «Дым», «Дворянское гнездо». Он слышал, как при нём утверждали, что Толстой-философ сильнее Толстого-писателя. Сам он считал себя не вправе давать оценку творчеству Толстого, его литературному мастерству. Он поражался естественности и величю его философской мысли. Книги «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» он берёт как талисман. В Горьком его поражало точное знание психологии черни, удивляло упорное желание выразить как можно более ярко единственную основную мысль. Среди прочих русских писателей он также очень любил Чехова, сокрушался, что Гоголь, владея столь великим талантом, не мог одолеть в себе крайнего национализма. Он не понимал, за что народ так высоко оценивает Пушкина, а Лермонтова он почему-то жалел – хотелось обнять его и утешить: «Не плачь, не плачь, нам тоже плохо живётся».

Из турецких писателей очень любил книги Намык Кемаля – «Джезми», «Пробуждение», «Силистре»; Мидхата – «Хасан моллах», «Хусейн Феллах», с удовольствием читал «Любовь и Разум» Ваджихи. Однако это не мешало Мансуру-эфенде оставаться истинным болгаром, любить свой народ. Во всех обычаях болгар он видел привлекательность, считал, что его народ трудолюбив и чистоплотен. Народные праздники, такие как сабантуй, джиен, Корбан-байрам, ему нравились больше, чем праздники других народов. И музыка болгар была для него самой мелодичной и самой красивой на свете – только под эту музыку у него рождались хорошие мысли, только она способна была взволновать его душу. Болгарская одежда ему нравилась меньше. Думая о болгарях будущего, он представлял себе женщин и девушек в калфаках, в расшитых узорами сапожках, а вот мужчин не хотел видеть в казакинах, широких джилянах, в больших меховых шапках.

Говорят, трезвеннику труднее продержаться в жизни, и всё же Мансур-эфенде не любил пить. Хорошие книги, которые помогали стать лучше, – вот что было ему нужно. Пьяным его никогда не видели. Каждое своё дело он сверял с совестью, потому что знал по собственному опыту, что наказание за бесчестие бывает очень суровым. Иногда он засиживался допоздна где-нибудь в компании приятелей, в спорах и разговорах о жизни выпивал по двадцать чашек чая, а вернувшись домой, не ложился, пока не выразит на бумаге мысли, теснившиеся в разгорячённой голове. Он лихорадочно строчил, не вполне понимая, что делает, не думая, что пишет, в какой-то момент отшвыривал исписанные листки и, вытянувшись на кровати, мгновенно засыпал. А потом выяснялось: всё, что писал Мансур-эфенде в такие ночи, оказывалось наиболее удачным и совершенно не нуждалось в дополнительной правке.

Мансур-эфенде был сыном бедного муллы, поэтому о себе приходилось заботиться самому. Ждать помощи было неоткуда, и он зарабатывал уроками. Порой к ученикам приходилось бежать через весь город, из конца в конец. На заработанное он одевался, покупал книги, ходил в театр, угощал друзей в своей крошечной комнатухе чаем. Он и сам учился, а потому с утра спешил на занятия, потом шёл к ученикам.

Вернувшись домой, он пил чай, готовил уроки, читал книги, позднее являлись его товарищи и начинались нескончаемые разговоры, обмен мнениями, мыслями. Не было у него ни единой свободной минуты, жизнь целиком была заполнена учёбой, заботами, чтением книг, над которыми он много размышлял. Было ему всего двадцать два года, а по зрелости мысли Мансур-эфенде мог бы сойти за сорокалетнего. Он выработал собственный, оригинальный взгляд на мир. Пусть он возник в результате прочитанного, но Мансур-эфенде добавил кое-что и от себя. Слова «труд» и «счастье» он считал синонимами, а «хорошему» и «плохому» давал собственную оценку. В его представлении наш народ, который творит по шариату намазы и держит благие посты, с уст которого не сходит имя Аллаха, должен считать хорошим человеком вовсе не того, кто много учился и добился звания учёного, а того, кто живёт в ладу с людьми, никому не причиняя вреда – ни материального, ни морального, – всегда руководствуется совестью и живёт за счёт своего ремесла. Хороший человек – это обыкновенный труженик, какой-нибудь Ахметжан-абзый. Он тихо и скромно делает своё дело. А вот мерзавцем Мансур-эфенде не побоится назвать Гали-бая, который нанимает человека здоровым и выкидывает на улицу больным, сколько бы тот ни ходил в мечеть, водрузив на голову большую чалму, и сколько бы ни угождал ишану.

Ишанов и их мюридов он считал пройдохами, очень хорошо зная из книг по истории, откуда они произошли. Мансур-эфенде обнаруживал перед народом их истинную личину, призывая держаться от подобных хищников подальше. Он считал, что каждый должен так поступать, если хочет добра народу. Однако кто слышал его и кто понимал? У нас не умеют разбираться, кто говорит правду, а кто лжёт. Так и в делах порой трудно сообразить, что приносит прямую выгоду, а что ведёт к разорению. Из всех советов обычно выбирают самый несуразный, а потом от дел ждут хороших результатов.

Мансур-эфенде, судя о том или ином человеке, никогда не интересовался его денежными делами. Возможно, это объяснялось тем, что он не слишком хорошо был знаком с науками о финансах. А скорее всего, причина была в том, что ему гораздо важнее было знать, что хорошего, доброго сделал этот человек в жизни. Живя в уже знакомой нам комнате, Мансур-эфенде учился в последнем классе школы. На жизнь он зарабатывал уроками, полагая в будущем поступить в высшее учебное заведение.

Уроков у него было немного, но на пропитание денег хватало. Знакомый обещал найти ещё одного ученика, что позволило бы ему позаботиться также и о своём внешнем виде.

Год нынче выдался голодный, и на улице было много нищих, а Мансур-эфенде не мог пройти мимо жалких стариков и старушек, которые мёрзли, стоя с утра до вечера под воротами байских домов и, не получив ничего, со слезами брели домой. И если у него случались

деньги, непременно подавал им, вот почему лишних денег у него не водилось. Однажды Мансуру-эфенде передали в школе письмо. Решив, что это обыкновенная записка от кого-нибудь из знакомых, он сунул его в карман, но ему сказали, что кучер ждёт ответа, и он принялся читать. Один знакомый, который не входил в круг его друзей, приглашал его приехать. В записке говорилось о деле, которое должно Мансура заинтересовать, а потому отказываться от приглашения было бы неразумно.

Мансур-эфенде начал было писать ответ, что приехать сейчас не может, поскольку уроки ещё не закончились, но тут товарищи по учёбе сообщили, что за учителем пришёл слуга и урок истории не состоится. Убедившись, что это правда, Мансур-эфенде сел в коляску и поехал по адресу, указанному в записке, – к Галиму-эфенде. Служанка открыла ему дверь и пригласила войти. Мансур-эфенде был в школьной одежде, один рукав на локте был протёрт, а в верхней части брюк была маленькая дырка. Он одёрнул брюки, прошёл в просторный зал и оказался среди благоуханных цветов, зеркал и изысканной мебели.

Мансуру-эфенде нередко приходилось видеть подобные залы, но обычно это бывало во время праздников, когда на нём был приличный костюм. И теперь в поношенной одежде ему было не по себе в обществе шикарно одетых байских сынков. Он сел, подобрав ноги. Увидев стол, заставленный чак-чаком, сумсой, паштетами, вареньем, калявой, мёдом, фруктами и прочими яствами, – похоже, привычной для этих господ едой, – он почему-то вспомнил о бедной старушке, повстречавшейся ему вчера, которая была бы рада корочке ржаного хлеба.

Налили чаю. Мансуру-эфенде очень хотелось есть, но он знал, что проявленный аппетит будет здесь осуждён, потому что эти господа не ведали голода и ели не спеша, лениво, как бы нехотя. Хозяин не сразу познакомил Мансура-эфенде со своим гостем, но тот догадывался, что перед ним известный Габдулла-эфенде, который так богат, что мог позволить себе всё. Габдулла тоже видел иногда Мансура-эфенде в окружении людей, говоривших какие-то обличающие язвительные речи, знал как человека неблагонадёжного, читающего русские книги.

Хозяин дома сказал:

– Вот, Мансур-эфенде, нашему Габдулле нужен человек, который мог бы обучить его русскому языку. Мне известно, что вам это дело по плечу. Может, возьмётесь, если располагаете временем?

Узнав в чём дело, Мансур-эфенде немного осмелел и придвинул к себе тарелку с пирожками.

– Ну что ж, – сказал он, – завтра же можем начать. Вы готовы?

– Давайте начнём сегодня же. Поедем ко мне, у меня лошадь.

Мансур-эфенде возражать не стал.

Дверь им снова открыла прислуга, Мансур-эфенде поднялся по лестнице, устланной ковром. Смущаясь своей одеждой, проследовал в просторный кабинет. Комната была чисто прибрана. Зеркала, диваны – всё, как положено, только непонятно было, как попал сюда почерневший от времени глобус, на котором видны были Средиземное море с группками островов. В соседней комнате виден был стол, накрытый белоснежной скатертью, а на нём две тарелки, солёные овощи, хлеб. Габдулла сказал:

– Вот и обед готов, давайте поедим. Я не предупредил, что привезу вас, а потому обед домашний, – добавил он по-русски, – не обессудьте, всё по-простому.

Это «не обессудьте» прозвучало как-то обидно, словно хозяин хотел сказать: «У вас нет права осуждать нас». Мансур-эфенде чуть покраснел. Габдулла-эфенде вышел, и Мансур, воспользовавшись его отсутствием, посмотрел на себя в зеркало и не увидев там ничего плохого, решил больше не смущаться. «Да и вообще, кто он такой? – подумал он о Габдулле, – мальчишка!» Вскоре служанка с закатанными по локоть рукавами, красная от смущения, как свёкла, принесла в фарфоровой миске суп и открыла крышку. Поднявшийся душистый пар

коснулся ноздрей Мансура, и он, не сдержавшись, сглотнул слюну. Габдулла спросил: «А катык есть, Марьям?» На нём была теперь другая одежда. Он пригласил Мансура-эфенде к столу.

Начался обед. Плов, за ним мясо, потом компот. Мочёные яблоки, солёная дыня, солёные огурцы – всё очень кстати. Мансур-эфенде ел, пока не насытился. Как говорится, когда желудок полон, и мулла готов песню затянуть. После обеда Габдулла-эфенде достал из шкафа книги и бумагу. Мансур-эфенде выбрал книгу, и урок начался.

Так, у Мансура-эфенде одним учеником стало больше. Эта перемена ничего не значила в его жизни и для Габдуллы тоже событием не стала. Новым было лишь то, что Мансур-эфенде стал каждый день проводить в доме Габдуллы два часа. Остальное его время, как и раньше, принадлежало книгам, друзьям, размышлениям о будущем, занятиям с прочими учениками.

Габдулла-эфенде тоже, отдав определённое время изучению русского языка, оставшиеся часы проводил в похождениях с приятелями, по пятницам посещал мечеть, а после обеда раздавал подавания нищим.

Габдулла-эфенде сознавал разницу между ними, ведь сам он являлся «потомственным почётным гражданином, господином Габдуллой Амирхановичем», а Мансур-эфенде был в его глазах бедняком и в друзья не годился. Учитель был неинтересен ему, но обучать русскому языку умел, поэтому Габдулла был снисходителен к нему, полагая, что оказывает этим великую милость, и в душе ждал за это благодарности.

Мансур-эфенде по-прежнему относился к Габдулле как к «мальчишке». Чем ближе он узнавал его, слушал его откровения, тем больше приходил к выводу, что перед ним порочный юнец, и, зная наперёд, что ничего путного из этого человека не выйдет, смотрел на него с жалостью.

Жалость иногда пробуждала желание как-то помочь Габдулле, и Мансур-эфенде задумывался, как освободить его от тлетворного влияния медресе и дурного воспитания матери. Однако всякий раз, когда он заговаривал с Габдуллой, тот надувался и давал понять учителю, что он имеет дело с потомственным почётным гражданином. Было очевидно, что благие усилия Мансура-эфенде напрасны. И тогда он говорил себе: «А ну его! Пусть пропадает! Такие и должны пропасть, от них нет пользы ни народу, ни даже им самим. Пусть себе забавляется со служанками, когда-нибудь всё равно придётся одуматься. Будет до полуночи сидеть где-нибудь в гостинице, хлестать бутылками пиво, а когда пузо раздуется, а дела придут в расстройство, пойдёт на Сенной базар собирать сплетни о муллах, муэдзинах, женщинах, станет разглаговльствовать об английской политике в Индии да турецкой в Африке. Дорожка, по которой он идёт теперь, прямёхонько его туда доставит. Пусть пропадает! Не жалко!» Но так он думал, лишь когда бывал зол на Габдуллу. Всякий раз, увидев приветливое лицо своего ученика, отмечая, как он бывает порой находчив и остроумен, Мансур-эфенде снова возвращался к мысли: «Нет, нет! Надо спасать мальчишку, не стоит обращать внимания на его чванливость, ведь он не виноват, что его сделали таким, пропадёт ведь ни за что! Вывести его на верный путь – мой долг. Если я откажусь от этого, что же я за человек тогда?»

Но стоило Габдулле опять проявить свою заносчивость, он говорил, махнув рукой: «Нет, ничего из него не получится, пустой номер! Как говорится, чёрного кобеля не отмоешь добела!» Между тем учёба заметно продвигалась вперёд. Мансур старательно обучал, а Габдулла столь же старательно обучался. Почётный гражданин господин Габдулла Амирханович стеснялся говорить учителю спасибо, но в душе был ему благодарен.

Мансур добивался от Габдуллы умения понимать смысл русских книг. Для этого он заставлял его читать хрестоматию, где были собраны отрывки из произведений художественной литературы и пересказывать прочитанное. Габдулле и самому очень хотелось бы видеть на своём столе раскрытую книгу на русском языке, и он стремился овладеть осмысленным чтением. В казанских газетах он читал теперь не только объявления, но и новости. Так прошёл месяц. Мансура-эфенде огорчало, что он совсем не продвинулся в своём желании влиять на

ученика. Габдулла же был доволен собой, что сумел найти подход к учителю, не забывая при этом о своём высоком положении.

Дни шли своим чередом, но вот однажды в четверг Габдулла-эфенде, ожидая прихода учителя, вдруг получил от него через какого-то мальчишку письмо. Мансур-эфенде сообщил, что в театре сегодня ожидается хороший спектакль и друзья его тоже будут там, поэтому он решил отменить сегодня занятия, зато завтра придёт в два часа и проведёт урок за сегодняшний день. Габдулла-эфенде письмо разозлило. Во-первых, он сегодня хорошо подготовился, а во-вторых, завтра пятница и надо будет раздавать милостыню. Возможно, и Ахмет с Шафиком придут, а он в это время будет сидеть на уроке. Решив посмеяться над Мансуром и указать его место, он задумал свести его с девушкой.

Габдулла пошёл к матери.

– «Этот» не придёт сегодня, – сообщил он, – я пройдусь немного.

– Он что же, за пропущенные дни тоже берёт? – спросила она с беспокойством.

Габдулла-эфенде провёл этот день весьма удачно: ходил с друзьями в гостиницу. Там они долго кутили, потом пошли в другую. Выпито было изрядно. Ближе к вечеру завалились «туда», где предавались распутству, сколько душе было угодно.

4

Когда Сагадат, проснувшись, вышла из казармы, было ещё темно. В небе сиял месяц, высыпали звёзды, белый снег заполнял всё вокруг отражённым светом, и видно было, как днём. Похолодало, из трубы соседа-пекаря медленно и как-то горделиво поднимался дым. Город спал. Далеко было слышно, как скрипит под полозьями снег. Но вот, взорвав тишину, где-то прокричал голландский петух. Сагадат долго смотрела на луну, на звёзды. Казалось, они сплетали венки из лёгких прозрачных лучей и сыпали их на голову Сагадат. Луна тихо плыла за ней в бескрайнем и бездонном воздушном океане, словно страж, не отступая ни на шаг. И лунная девушка Зухра, отставив вёдра с коромыслом, казалось, жалостливо смотрит сверху. Сквозь кружево света Сагадат будто слышит её: «Я тоже была, как ты. А теперь мне видно всех, кто на земле. Не печалься, и ты будешь такой же». Сагадат хотелось опуститься на колени и попросить: «Забери меня к себе, я устала жить, нет у меня ни отца, ни мамы». Потом она подумала, что места на луне для двоих, пожалуй, будет маловато, и если она поднимется, то заслонит собою луну. Ей хотелось поближе рассмотреть звёзды, которые струили на землю призрачный бело-голубой свет. Вот бы взлететь и сверху взглянуть на мир! Ещё хотелось вихрем умчаться куда-то далеко-далеко по накатанной белой дороге, чтобы под полозьями звонко взвизгивал снег и чтобы швыряло санки из стороны в сторону! Хотелось прижаться к кому-то и выплакать своё горе. Ей так не хватало милой тётки, её отца – муллы и отазбике. С какой бы радостью она расцеловала теперь девочек, которые собирались по утрам в малом доме хазрата на урок, каждой рассказала бы, как тяжело у неё на душе. Вот бы оказаться в доме муллы, вкусно пахнущем блинами, подсесть к беспечному самовару, весело клопочущему с утра до вечера, и жить, как раньше, без забот и горя. Если нельзя туда насовсем, то хотя бы на недельку, чтобы собраться немного с силами, отойти от тоски и боли, но если и этого много, то на денёк, на один только час вернуть бы прежнее счастье! Но нет их рядом, и скорее всего ей уж не быть счастливой никогда, как в песне поётся: «Прошлого воротить нельзя... Что было, то прошло...»

В самом деле, как могло случиться, что она, воспитанная в семье муллы, оказалась в полном одиночестве, без близких и без единого защитника, среди грубых, безнравственных людей, отовсюду собравшихся сюда, и, чтобы как-то прокормить себя, вынуждена с толпой нищих бродить по улицам с протянутой рукой? При этой мысли слёзы закапали из глаз Сагадат. Сквозь мокрые ресницы ей казалось, что сверху проливаются потоки светлых лучей. Это луна и звёзды опечалены тем, что она так несчастна, и плачут вместе с ней. Сагадат понимала, что ей давно пора вернуться, что стоять так долго без одежды на морозе опасно, но жаль было расставаться с этой красотой, со сладкими мечтами. Тут дверь за её спиной тихонько отворилась. Сагадат продолжала стоять неподвижно, словно оледенев.

Кто-то подошёл и, узнав её, спросил:

– Ты что тут делаешь, Сагадат-апа?

Сагадат встрепенулась, словно отходя ото сна, и оглянулась. На неё расширенными от удивления глазами смотрела её подруга Зухра. Сагадат бросилась к ней, обняла и, крепко прижав к себе, принялась целовать. Зухра, растерявшись от неожиданности, стала вырываться из её объятий:

– Да что с тобой, Сагадат-апа?

Увидев мокрое от слёз лицо Сагадат, девочка хотела утешить её, сказать: «Не плачь, Сагадат-апа, не надо!», но не смогла: слёзы сдавили ей горло. Она обняла Сагадат, уткнулась лицом в её мокрую щёку и дала волю слезам, словно хотела смыть ими печаль с души подруги. Два несчастных создания, прильнув друг к другу, проливали ручьи слёз, которые текли, сливаясь и объединяя их страдания. Слёзы одной девушки бежали по щекам другой. Наблюдать это при слабом мерцающем свете ночи было грустно вдвойне. Если бы кто-нибудь мог видеть их

в ту минуту – двух бедняжек в оборванной одежде, тесно прижавшихся друг к другу! При виде печальной этой картины сердце не могло не дрогнуть от великой жалости. Луна и звёзды, словно просвечивая обеих насквозь, с головы до ног заливали их призрачным светом и мерцали сочувственно. Ах, если бы была возможность рассмотреть их слёзы! Удалось ли бы обнаружить в них тысячи и тысячи капель тоски, горя? А ещё столько же нежности друг к другу, любви к жизни, мечты о прошлом?

Бесконечно так продолжаться не могло. Они разняли объятия и тихонько пошли в казарму. Поливая друг другу из кумгана, который принесла Зухра, они умылись с мылом, приняли тахарат и, прибрав волосы, снова стали похожи на прежних Сагадат и Зухру. Грусть словно ушла вместе со слезами, обе мило улыбались, и ничто уже не напоминало о недавней тоске. Глаза, правда, всё ещё были красные, но это их несколько не портило. Умывшись, Зухра посмотрела на себя в зеркало и не увидела там ничего, что напоминало бы о недавних слезах. Подруги весело стали пить чай, а потом принялись готовить одежду, ведь сегодня им предстояло идти к баям за закятном.

У Сагадат не было ничего тёплого, найти для неё бешмет оказалось делом непростым. В конце концов курящая женщина сказала, что ей сегодня выходить не надо, и уступила свой бешмет. Старик с редисками дал ей тёплые носки, одна из старух – старую шаль. Под платье Сагадат надела ещё платье матери, на ноги – свои валенки, привезённые из аула. По старой привычке перед выходом Сагадат бросила взгляд в зеркальце. Заношенный бешмет – заплатка на заплатке – из-под него видны подола двух разных платьев, стоптанные валенки, на голове три шали, сложенные вместе. Как непохожа была эта Сагадат на себя! Сзади она напоминала мешок, набитый тряпьем, или чучело в гречишном поле. Где та нарядная девушка, которая ходила поздней осенью к подружкам на праздник ощипывания гусей, – в новом розовом платье с оборками по подолу, в калфаке, хотя и великоватом, в ичигах с каймой? И всё же глаза, брови привлекали внимание. «Смотри, какая хорошенькая девушка пропадает!» – мог воскликнуть кто-то с сожалением.

Пятница. Народ в казарме оделся и стал выходить. Сагадат с Зухрой тоже отправились своей дорогой. Показывая на дома, мимо которых они проходили, Зухра говорила:

– Вот это дом Гайнутдин-бая. Говорят, раньше здесь хорошо подавали... Вот это дом Сафии-бике, подают только во время Рамазана... А вот здесь служила девушка из нашего аула...

За разговором дорога казалась короче. Встречая хорошо одетого человека, Сагадат смущалась. Ей чудилось, что прохожие разглядывают её с удивлением. Из окон больших домов будто смотрели какие-то люди и качали головой. Чтобы отделаться от навязчивых видений, она старалась внимательно слушать Зухру, но ей это не удавалось. Вдруг сзади кто-то крикнул:

– Хе-ей! А ну, посторонись!

Сагадат обернулась и увидела в саях мусульманку, одетую на русский манер, рядом с ней девушку в белом платье, поверх которого была накинута шаль. Она не успела их толком разглядеть, потому что сани пролетели мимо, словно комета.

– Кто это? – спросила она Зухру.

Та объяснила, что это жена Вахит-бая, вышла замуж недавно, она дочка Бикметовой Разыи-бике. Они каждый день подают бедным.

– Сами-то в меха разряжены, а служанку в одном платье по морозу катают, – добавила она.

Сагадат почему-то сразу же прониклась к бике неприязнью. Может, позавидовала её богатству, а может, причина была в чём-то другом.

Вскоре возле ворот двухэтажного деревянного дома Сагадат увидела толпу оборванцев. Разный народ собрался здесь: стар и мал, мужчины и женщины – все закутаны в старье. Из-под старого бешмета виднелись лохмотья бывшего казакина, а под ним камзол вместо рубахи,

штаны – из разных лоскутов неопределённого теперь уже цвета. На ногах, замотанных тряпьем, дырявые калоши, на голове нечто неопределённое – то ли шапка, то ли колпак (в нашем языке нет названия этому сооружению из тряпок и кусков кожи). От таких вот стариков и до кое-как завернутых в тряпье малышей, выглядывавших из-за пазухи материнского бешмета, – кого здесь только не было!

Впереди всех, под самыми воротами, стояла старуха, держа за руку молоденькую девочку. Старуха накрылась чапаном, который когда-то был зелёного цвета, под чапаном не очень старый бешмет, на шею намотаны старые платки. Рядом, скорчившись на морозе, стояла рослая женщина. Кроме французского платка на голове да старого платья, на ней ничего не было. На висках из-под платка выбивались пряди чёрных волос. Худые щёки, глубоко запавшие глаза, длинные зубы – всё это придавало женщине скорбный вид. Она как-будто боялась смотреть по сторонам, стеснялась людей, а если изредка и поводила глазами, то скорее всего не видела ничего. Около неё низенькая, рыхлая, как квашня, женщина с большим животом. Она держала на руках ребёнка. Трудно было понять, во что она одета, – то ли нечто, бывшее когда-то бешметом, то ли платья, натянутые друг на друга. И всё же одежды на ней было много, а если сказать вам правду, то она её наворовала. На ребёнке была длинная мужская рубаша, голова повязана платком желтоватого цвета, а ноги его, замотанные тряпками, женщина сунула под свои одежды, чтобы не мёрзли. Ни по мясистому, курносому, с толстыми губами лицу женщины, ни по пустым, будто ненужным ей глазам нельзя было определить, что у неё на уме. Лишь по тому, как она всё время кутала ноги ребёнка, было видно, что он дорог ей.

Возле дома, у решётки, возились мальчишки, лет от восьми-девяти до семнадцати. Они громко ругались скверными словами и колотили друг друга. Некоторые были в рваных штанах, коротких пиджаках, перехваченных бечёвкой, другие – в длинных, волочащихся по земле бешметах и грязных шапках. Одеты они были плохо, а день стоял морозный, и тем не менее все выглядели вполне жизнерадостными, на холод и нищету никто не жаловался.

У других ворот толпились женщины, по большей части девушки. И хотя там были всё те же лохмотья, те же потёртые бешметы, те же стоптанные дырявые валенки и изредка можно было увидеть выцветшие чапаны, всё же смотрелись эти как-то попримечней, в глазах не замечалось ни тоски, ни недовольства судьбой. На лицах многих были румяна, на губах помада. Они переговаривались друг с другом, возле каждой почти стояла какая-нибудь скрюченная старуха, слепой старик или завернутый в тряпье, похожий на набитую лохмотьями сумку ребёнок, – сын или дочка – не разобрать.

Женщины стояли в некотором отдалении, но озорники-мальчишки не оставляли их в покое – бросали в них снежные комья или, подбежав, обнимали и хватили за непотребные места. Иногда, втиснувшись в середину толпы, они нагло заигрывали с женщинами помоложе, распускали руки, и всё приходило в движение, как в муравейнике, растревоженном сунутой в него палкой. Слышались крики:

- У-у, бесстыдник проклятый!
- Дай ты ему по башке, чего смотришь!

Хватая мальчишек за срамные места, женщины хохотали, ругались. И потом снова всё стихало.

Сагадат с Зухрой сразу же направились к женщинам. Зухра со многими здоровалась, называла по именам, вступала в разговор, живо интересуясь, что было вчера, позавчера на похоронах, много ли подавали. Она была так увлечена, что забыла про Сагадат. А та чувствовала себя здесь посторонней. У побирушек кругом были свои – знакомые, приятели, кто-то держал за руку родителей. Одна Сагадат для всех была чужой. С ней никто не заговаривал, и она углубилась в свои мысли. Глядя на нищих, пыталась вспомнить, как мама когда-то тоже носила её на руках; размышляла о том, какой ценой приходится людям добывать себе на пропитание. Ей было жаль этих бедняг, грусть вызывали малыши, мёрзшие на морозе.

Между тем странные люди в пёстрых лохмотьях всё прибывали и прибывали. Сагадат с удивлением спрашивала себя, откуда берутся эти бедолаги, почему их так много – распущенных мальчишек, грубых девиц. Она невольно сжималась и краснела, слыша их бранные выражения. И хотя ей было так же плохо, может, даже намного хуже, чем им, она не думала о себе – сердце девушки переполняла жалость к этим несчастным.

Толпа становилась всё нервозней и крикливей. Вскоре на улице показались молодые люди в аккуратных меховых шапках, бледные, как полотно. Они торопливо шли к домам. Открывались то те, то другие ворота, и молодые люди исчезали в них. Нищие с интересом наблюдали. В толпе говорили, что парни эти возвращаются с пятничной проповеди, и раз она закончилась, ворота должны вот-вот открыться. Желая быть первыми, люди протискивались вперёд. Это скопище пёстрых лохмотьев – старики, молодые, женщины, девушки, ребятня – засуетилось. Кто-то лез, расталкивая других локтями, кто-то устремлялся следом. Словом, не толпа, а муравьиная куча – всё тут было в движении.

– Да не тычь ты меня! Куда торопишься, опоздать боишься, что-ли? Ох, урус проклятый!!!

– Я вот заткну тебе хайло-то!

– Вперёд продвигайся, доченька! Вперёд!

– Ну куда на женщин-то прёшь!

– Нынче уж больше не будет нам милостыни.

– Ох, нечестивец! Мафтуха-а!

– Убиваете ведь! Убиваете!

– Вожжа, что ли, под хвост попала, куда гонишь?!

Сагадат стояла сзади. Она всё ещё размышляла о своём: «В ауле женщины никогда не посмели бы так прижиматься к мужчинам... Как же много здесь людей, потерявших стыд... Девушки сами без смущения лезут на мужчин...» Всё искренне огорчало её, за всех она переживала.

Вскоре пузатые баи с лоснящимися лицами, в зелёных чалмах стали осторожно пробираться к себе в дом. Подъехал ещё один. И видя, что хозяева остановились в растерянности, закричал:

– Дайте людям пройти! Домой попасть невозможно! Что за безобразия!

Толпа расступилась, и хозяева прошли. Сагадат ожидала, что после этого люди угомонятся, но не тут-то было – ругались, насмехались, обзывались по-прежнему. Она замёрзла, от тяжёлых мыслей болела голова, а ворота всё не открывали. Столько народу мёрзло на морозе! И чего ради? Ради ничтожной подачки в полкопейки ценою такого унижения. Баи насмеются над нищими, выказывают им своё презрение, заставляя подолгу мёрзнуть на морозе. Наконец-то до Сагадат дошло, почему их заставляют ждать. Всё дело в том, что Габдрахман-бай сначала желает пообедать в кругу своих домочадцев, а уж после, потехи ради, займётся раздачей милостыни. Надо было ждать, пока бай не насытится да не отвалится от стола, пока не набьёт брюхо до отказа.

Но вот он наелся. Взял мешочек с деньгами и вышел на крыльцо. Дворник спросил, можно ли открывать, и ворота открылись. Весь тряпичный народец, приветствуя благодетеля, как царя, стал вваливаться во двор. Дворник кричал, подгоняя: «Давай, давай скорее, скорее!» Сагадат в задумчивости стояла позади, а когда дошла до ворот, они уже закрывались. Дворник торопил, а Сагадат не слышала его и заставила себя ждать. Дворник, обзывая её какими-то скверными словами, которых Сагадат никогда раньше не слышала, придержал левой рукой ворота, а правой хлопнул Сагадат по плечу. Она подняла голову, и взгляды их встретились. Перед ней стоял молодой рыжеусый парень с маслянистым лицом. Скопление людей напомнило ей дом муллы-абзы во время праздника Курбан-гает. Толчок дворника вернул её к жизни. Она вдруг опять вспомнила о своём бедственном положении, и плотину будто прорвало: слёзы

потекли по её застывшим щекам, оставляя на них следы, и падали на снег, ни у кого не вызывая сочувствия. Сагадат опустила глаза. Её унизили, осрамили ни за что, и слёзы потекли ещё обильней.

Во дворе народ шумел и ссорился, в воздухе носились грязные ругательства, дворник и приказчики бранили народ. Сагадат подняла глаза. На балконе жена бая, худенькая девочка лет пятнадцати-шестнадцати и грудастая служанка с выпученными глазами смотрели на нищих и смеялись. Сагадат встретила взглядом с байской дочкой, в глазах её было столько злости, что девочка не выдержала её взгляда и отвернулась. Девочка сказала что-то служанке, и они снова засмеялись. Сагадат приняла их смех на свой счёт, и злости её не было предела, она готова была растерзать их.

Получивших милостыню выпускали из ворот. Сагадат давно потеряла Зухру и теперь не знала, как ей быть. Прошло время выходить и ей. В воротах стояли приказчик и подросток. Когда очередь дошла до Сагадат, приказчик сказал:

– Этой можно дать две, – и положил ей в ладонь две монетки. Тут подросток неожиданно вцепился в Сагадат сзади, видно, пожалев лишнюю монету. Сагадат побледнела, потом покраснела, не знала, что делать с деньгами, куда идти, и, не думая ничего, двинулась вслед за уходившими. Люди свернули за угол, Сагадат свернула тоже. Вот те, кто шёл рядом, бросились бежать, а Сагадат, не понимая, что происходит, продолжала идти. Она подняла глаза и увидела, как в ворота напротив забежала какая-то старуха, и они закрылись.

Было ясно, что она опоздала. Сагадат подошла к забору и остановилась. Отовсюду стали подтягиваться нищие, которые принялись трясти ворота:

– Открой! Открой говорю!

– Дядечка, открой!..

– Будь ты проклят! Чтобы дом твой сгорел!

– О Аллах, сделай так, чтобы его дети тоже хватили лиха, как я! – теперь проклятия летели в адрес хозяев дома.

Сагадат всё так же растерянно стояла у забора. Люди продолжали трясти ворота. Вот ворота отворились, выскочил человек в одежде кучера и всех подряд стал охаживать метлой, приговаривая что-то. Люди вопили, проклинали его, а кое-кто, воспользовавшись, что ворота открыты, проскользнул во двор. Сагадат спокойно стояла, будто пришла поглядеть на всё это. Неожиданно её больно ударили по голове – из глаз посыпались искры, вокруг сделалось темно, она перестала видеть, если бы не забор, упала бы. Некоторое время стояла, приходя в себя. Открыв глаза, увидела, что человек с метлой скрывается в дверях, у ворот, кроме неё, никого не оставалось.

Вот во дворе снова поднялся шум. Ворота отворились и из них, как раньше, повалил народ, а Сагадат так и стояла, не двигаясь, на одном месте. Подбежала сияющая Зухра:

– Где ты была? Я с ног сбилась, ищу тебя!

Сагадат удивлённо посмотрела на неё, подумала: «Неужели и я кому-то ещё нужна?».

– Так ты не успела? – говорила между тем Зухра и стала посвящать подругу в «тонкости» нищенского «ремесла».

Они направились туда, куда шли все. Наступило время намаза икенде. Сагадат думала: «Это было в последний раз. Если останусь жива, ноги моей здесь больше не будет. Уж лучше умереть с голоду».

Пришли. Через открытые ворота вошли во двор большого дома. Дворники стояли у ворот и впускали людей. Сагадат посмотрела на побеленный трёхэтажный дом. Со стороны двора на уровне третьего этажа вдоль стены тянулась длинная терраса.

Там служанки, снуя взад и вперёд, выносили какие-то вещи. Чистенькие, личики круглые, настроение у всех хорошее, по глазам было видно, что они не знают, что такое голод. Сагадат посмотрела на них один раз и позавидовала их счастьем, посмотрела во второй раз и

подумала: «А ведь и у них, возможно, нет родителей. У них разве не может быть большего горя?» И ей стало жаль этих девушек. Ворота закрылись. Немного погодя на террасу вышли четыре молодых человека, один из них был Габдулла-эфенде, второй Мансур-эфенде, и ещё два байских сына, приятели Габдуллы.

Народ затих, все уставились на террасу, сообщая друг другу всё, что знали об этих людях. Зухра сказала Сагадат, что один из четверых – хозяин дома, а прочие – его приятели. Сагадат ещё раз посмотрела наверх и обратила внимание на мрачное лицо Мансура-эфенде, который неподвижно смотрел в одну точку и имел растерянный вид, словно мужик, у которого сгорел овин. «Этому счастливчику, как видно, что-то здесь не по душе», – подумала она. Сагадат перевела взгляд на остальных – все опрятно и чисто одеты, все веселы, словно на празднике.

Мансур-эфенде, которому, как и ей, похоже, не нравилось то, что происходило, вызвал у неё симпатию. Приятно было видеть, что кто-то разделяет твоё настроение. Если бы он среди стольких сирых, голодных и убогих, презрительно смеясь, как другие, говорил что-то, тыча куда-то пальцем, она конечно же, ничего, кроме враждебности, не испытала бы к нему. Сагадат повела взглядом вокруг себя – все переговаривались со своими знакомыми, кто-то занимался дележом копейки, выданной на двоих. Сагадат снова подняла голову и остановила глаза на Габдулле. Она увидела пренебрежение в его усмешке, и взгляд её стал жёстким и сердитым – так же смотрела она на байскую дочку в доме, где недавно была. Однако Габдулла не поддался её гипнозу, как та девочка. Сагадат очень старалась смутить бая, однако вынуждена была признать своё поражение и отвела глаза.

Зато глаза Габдуллы внимательно ощупывали Сагадат с головы до ног. Девушку внезапно охватила странная тревога, она поняла: надо бежать отсюда, пока не поздно. Однако что-то мешало ей пойти к воротам, казалось, тот опрятно одетый джигит на террасе своим долгим взглядом подавил всю её волю, она чувствовала себя кроликом, попавшимся на глаза удаву. Сагадат снова с опаской подняла глаза. Молодые люди теперь собрались в кучку, и Габдулла что-то говорил мрачному джигиту. Сагадат показалось, что он проделывает с ним то же, что сделал с ней, – хочет лишить его сил, навязывает свою волю. Ей было жаль джигита. Тут все четверо обернулись к ней, и молодой бай указал на неё пальцем. Этот колдовской палец заставил Сагадат вздрогнуть: по телу её пробежал электрический ток. Она снова почувствовала, как силы покидают её.

– Нет, нет, я на это не способен! Нет!

Услышав это, Сагадат подняла голову. Мрачный джигит что-то горячо говорил, остальные слушали его с улыбкой.

Послышалось, как один из них сказал:

– Да ладно тебе, не говори ерунды!

Мрачный джигит махнул в ответ рукой и скрылся в дверях. Габдулла вышел за ним. Вскоре мрачный джигит и вовсе покинул дом. Следом за ним Габдулла вышел с мешочком денег. Тряпичный базар снова зашевелился, каждый старался пробиться вперёд. В толпе стало тесно, гвалт усилился. Сагадат толкали, шпыняли, пока снова не вытеснили назад. Зухры рядом не было. В воротах раздавали милостыню и по одному выпускали на улицу. Вот два молоденьких парня подошли к Сагадат. Несмотря на молодость, глаза их сально блестели, лица были напудрены, губы подкрашены. Они подвели к ней двух девушек, выглядевших вполне довольными, и сказали:

– Пойдём, красавица, тебе тут подадут!

Сагадат удивилась и, ничего не понимая, смотрела на парней. Девушки улыбались. Сагадат повернулась и, ничего не говоря стала уходить.

– Постой, куда же ты? – услышала она позади себя волнуемый голос и, обернувшись, увидела Габдуллу.

Глаза её мгновенно заволокло туманом, и она потеряла способность говорить. Габдулла подошёл ближе и сказал:

– Пойдём, пойдём! С этими вот девушками.

Сагадат совершенно растерялась. От одного взгляда этого человека её бросало в жар. Воля оставила её. Девушки подхватили её с двух сторон (видно, им подали знак), приговаривая:

– Пойдём! Чего ты испугалась? – и повели её.

В детских снах ей приходилось спасаться бегством от гусака, от кузнеца, который гонялся за ней с куском раскалённого железа, от леших и собак. Бывало, хочет бежать, запыхавшись, выбивается из сил, а с места сойти не может. Беда, казалось, вот-вот наступит, и становилось так плохо, что и сказать нельзя, но её всегда спасало внезапное пробуждение. Вот и теперь Сагадат испытывала то же самое. Разница была лишь в том, что в детстве можно было проснуться, а здесь под взглядом колдовских глаз Габдуллы она чувствовала, что сон сковывает её всё больше, и кузнец с железом уж совсем близко.

Подошли к какой-то двери и вошли. Издали доносился голос муэдзина, призывавшего к ахшаму: «Аллаху акбар!». То была дворницкая Габдуллы-бая, мрачная камера пыток для Сагадат, которую она запомнит на всю жизнь, место, где ей будет выдан чёрный билет для позорного счастья. Билет, который навсегда захлопнет для неё, девочки, воспитанной вместе с дочерью муллы, дверь в счастливое будущее. Комната была довольно просторной – широкое саке с пологом, стулья, по углам паутина, лампа на столе, всюду на гвоздях развешена рабочая одежда. Не успели войти, как парни начали хватать девчонок за всякие места, те, хохоча, отвечали им тем же.

Сагадат наконец поняла, что попала в капкан, но сил выбраться из него не было, хозяин капкана Габдулла готов был нанести своей жертве последний удар, чтобы окончательно лишить её чувств. Её, ту самую Сагадат, которая читала в доме муллы «Мухаммадию», даже к руке которой никто никогда не прикасался, которая о чём-то подобном думала не иначе, как содрогаясь от страха. Эту Сагадат он сейчас погубит, а вместо неё возродится совсем другая Сагадат. Так всё и случилось.

Те две пары очень быстро скрылись за пологом. Габдулла усадил Сагадат в угол и взял её за руку. Тёплая, мягкая ладонь парня лишила Сагадат последних сил – она сидела перед ним тихая и бессловесная. Габдулла принялся развязывать на ней тесёмки старого бешмета, бесстыдно тиская и поглаживая её. Так прошёл то ли час, то ли два. Сагадат так и не смогла собраться с силами, чтобы противиться Габдулле. Когда дело стало двигаться к концу, она из последних сил попросила:

– Не надо, милый!..

В ту же минуту из-за занавески послышался хохот, и она не смогла повторить свою просьбу. Через четверть часа в дворницкой слышался лишь горький, неутешный плач. Это были последние слёзы прежней Сагадат, оплакивающей потерянные надежды, утраченные сокровища души. Слёзы эти лечили открытую кровоточащую рану, только что нанесённую ей.

Послышались звонкие поцелуи, потом дверь открылась и те пары ушли. Сагадат быстро поднялась с саке, откинула занавеску и, как безумная, бросилась на Габдуллу, обхватила руками его голову и, жадно впившись ему в губы, замерла в долгом поцелуе.

Габдулла даже растерялся от неожиданности, забыл о деньгах, которые приготовил для неё. Поцелуй совершенно лишил его равновесия, теперь он сам был в том же состоянии, что и Сагадат. Она же схватила бешмет, запахнула дверь и выскочила во двор. Луна выкатилась из-за тучи и залила её лучами. Сагадат подняла голову. Луна, казалось, говорила ей: «Пока ты была там, я стеснялась показываться на люди, а теперь ты вышла, и я здесь». А лунная Зухра будто кричала: «Ах, Сагадат! Бедная, бедная Сагадат!»

Откуда-то донёсся голос отца: «О Аллах, дай ей сил выстоять!»

И луна казалась обиженной на Сагадат, и снег, громко скрипя под ногами, будто спешил оповестить весь мир, чем занималась она в дворницкой. Эти мысли и переживания вызвали новые потоки слёз. Сагадат быстрыми шагами направилась к воротам, поправляя на ходу платок. У ворот в углу одна из давешних девиц стояла с дворником. Дворник открыл Сагадат ворота и, увидев в свете луны её заплаканное лицо, проговорил:

– Ну, тут всё ясно!

Его замечание резануло слух девушки. В голосе дворника явно слышалась издёвка. Эти слова напомнили Сагадат, что она теперь ничем не лучше стоявшей рядом девицы, которая доступна была всем – и баю, и дворнику, и полицейскому.

Снова вспомнились родители. Мама, казалось, причитала, качая головой: «Ах, Сагадат! Ах, детка моя!..», а отец говорил: «Дочка, дочка! Я умираю, почитай мне Коран!» И вслед за этим: «О Аллах, дай ей силы выстоять!» Сагадат, словно приходя в себя после тяжёлого сна, понимала, какая беда случилась. Что же теперь с ней будет, что ждёт её впереди. Она снова залилась неутешными слезами.

Навстречу ей шли люди, и казалось, каждый знал, где она была, и спрашивал: «Что же ты натворила?!» Впереди показалась казарма. Увидев её огоньки, Сагадат опять ощутила, что уже перестала быть прежней Сагадат, и снова заплакала. Она плакала, с трудом представляя, как сможет войти в казарму, какими глазами посмотрит на людей – старых нищенков, на старика, который так добр к ней. Что ответит на расспросы Зухры...

Поняв, что пока не высохнут слёзы, она не сможет войти внутрь, Сагадат прислонилась к какому-то забору и подняла глаза к небу. Луна по-прежнему будто осуждала её, звёзды смотрели печально, порывистый ветер обдавал холодом и, разгоняя слёзы по лицу, стал их морозить. Ветер продувал Сагадат насквозь, она долго мёрзла у забора, потом потихоньку двинулась к казарме.

Вошла во двор, дрожа от холода и душевных мук. Зубы стучали, из глаз катились горестные слёзы. Тихонько встала на ступеньку, лестница под ней закрипела. Сагадат услышала в этом скрипе жалобу: «Грешниц, как ты, я не в силах выдержать». Сагадат невольно отступила назад. Постояв немного, стала подниматься. Она представила себе обитателей казармы и поняла, что в таком виде не может показаться им на глаза. Ветер между тем усиливался и завывал всё громче.

Вот дверь казармы открылась. Сагадат, испуганно вздрогнув, отошла в сторону. Кто-то, тяжело ступая, прогремел вниз по лестнице и, не заметив Сагадат, присел. Сагадат стояла в нерешительности, размышляя, стоит ли обнаруживать себя или уж лучше спрятаться. Мужчина пошёл к ней и, заметив Сагадат, спросил:

– Кто здесь?

Сагадат, не в силах ответить, разрыдалась. Человек узнал её и, догадавшись в чём дело, сказал:

– Не плачь, что было, то было. Пойдём в дом!

Сагадат пыталась объяснить, что ни в чём не виновата, хотела поблагодарить за спокойные слова «что было, то было», словно речь шла о чём-то обыденном. Она стыдилась своего позора, ей хотелось умереть. Видя, что девушка не решается войти, он обнял её и хотел ввести силой, но Сагадат взмолилась:

– Абзыкаем, пусти меня! Как же мне показаться им на глаза? – и заплакала навзрыд.

Видя, что усилия его напрасны, он вошёл в дверь и сказал женщинам и Зухре, чтобы уговорили Сагадат войти. Те, услышав крик Сагадат, обо всём догадались, во всех уголках казармы новость подействовала на людей словно гром среди ясного неба. Женщина-курильщица, Зухра и ещё несколько человек вышли и с большим трудом уговорили Сагадат войти. Её обступили со всех сторон, но Сагадат не могла говорить и только плакала. Впрочем, все и

без того знали, где она была и что с ней случилось. Женщины умыли бедняжку, её распухшие от слёз глаза, потрескавшиеся на морозе щёки.

Все смотрели на Сагадат с сочувствием, и, хотя горе её от этого не уменьшилось, глаза всё же высохли. Зухра принесла поесть. Сагадат ела жадно, не глядя по сторонам, словно три дня не видела еды. Люди стали осторожно расспрашивать её, высказывали своё отношение к обидчику, и если ещё вчера не употребляли при Сагадат срамных слов, то теперь сыпали ими без всякого стеснения. Сагадат сердило и обижало это, она всё ещё не могла примириться с мыслью, что отныне стала другой Сагадат. Все дружно осуждали Габдуллу и ему подобных, говорили, что все они испорчены до мозга костей, что для них нет ничего святого. Некоторые советовали подать в суд, другие, жалея, гладили Сагадат по спине, утешали, говоря, что не всё для неё потеряно, что на свете немало людей, которые, пройдя через это, всё же очень неплохо устроились в жизни.

В таких местах, как медресе, тюрьма, солдатская казарма, люди, много лет втайне хранившие подробности своей жизни, в конце концов раскрываются и ставят себя и свой опыт другим в пример. Так и здесь, женщины со слезами рассказывали истории собственного падения, некоторые из мужчин признавали свою вину в таком грешном деле и заканчивали рассказ примерно так: «Последние слова той девчонки до сих пор как заноза в сердце. Теперь-то очень раскаиваюсь, да только вернуть уже ничего нельзя!» Всё это говорилось, чтобы как-то утешить Сагадат, а она понимала это как приглашение в свою компанию. Их старания успокоить её показывали лишний раз, как низко она пала.

Разговоры затянулись допоздна. Сагадат узнала примеры ещё более горькие, чем её история. Легли спать. Сагадат тоже легла и до утра пролежала с открытыми глазами. Она печалилась, думая о себе, а ещё перед ней всё время маячили колдовские глаза Габдуллы, слышался его завораживающий голос и было странное чувство, что он не чужой ей. Сагадат не могла избавиться от назойливого желания снова увидеть этого человека и так же крепко впиться в него губами. Она понимала: мысли её порочны, неправильны, твердила себе, что Габдулла развращён, жалела, что её первый такой искренний поцелуй достался подлому байскому сынку, который погряз в грехе так, что даже жалкие обитатели казармы по сравнению с ним – просто ангелы.

Сагадат уснула под утро. Во сне она видела мать, отца и себя. Снилось ей, будто она умерла, хотя и ходила. Отец с мамой будто бы очень страдали, но не сказали ей ни слова. Какие-то собаки грызли её, рвали на части. Сагадат с криком проснулась. Открыв глаза, тотчас подумала, что сон был послан ей в назидание, чтобы поняла, наконец: прежней Сагадат больше нет.

Вскоре народ начал вставать. Сагадат поднялась тоже. Хотя все обращались с ней ласково, она заметила во взглядах людей перемену – улавливала нечто, похожее на насмешку и жалость одновременно. Говорить с людьми с глазу на глаз стало мукой для неё.

Вечером гармонист с приятелями явились пьяными. Они, как всегда, несли вздор и несусветицу, но этого им показалось мало, стали приставать к Сагадат, называя вещи своими именами, орали:

– А-а! Меня-то ты не захотела поцеловать! А теперь что же?

– Давай, Сагадат, иди сюда, попляши-ка маленько! Иди!.. Ты ведь теперь уж всё равно не девушка!

Они опустили Сагадат ещё ниже. По тому, как все вокруг усмехались, слушая пьяниц, она поняла, сколь ужасно то, что с ней произошло. С каждым днём люди становились всё небрежней в отношении неё, от прежней Сагадат она уходила всё дальше и дальше. Мужики, столкнувшись с ней во дворе, без всякого почтения тискали её, без стеснения звали в баню, а женщины, видя это, уже не заступались.

Сагадат всё больше теряла уважение окружающих, надо было спасать своё доброе имя и выбираться поскорей из этого болота, пока не поздно. Но в ближайшее время подходящего места не предвиделось, и Сагадат «пока» продолжала жить в казарме. Хотя она клялась, что больше ни за что не станет побираться, с переменной, происшедшей в ней, люди помогать ей перестали, так что прокормиться, не выходя из дома, стало невозможно. По пятницам она теперь вынуждена будет ходить за подаванием, терпеть грубую ругань и тычки дворников, бесстыжие выходки приказчиков, выслушивать всякие нечестивые слова.

Настала пятница. К положенному времени Сагадат отправилась к дому Габдуллы. Она продумала слова, которые скажет ему при встрече. Вот Габдулла вышел на террасу, молодых дружков и того мрачного человека сегодня с ним не было. Сагадат это порадовало, и она, выйдя вперёд, стала, не спуская глаз, смотреть на Габдуллу, надеясь перехватить его взгляд, однако Габдулла упорно не глядел в её сторону, а если и смотрел, то очень невнимательно. Сердце Сагадат сжималось, внутри всё полыхало огнём. Начали раздавать милостыню. Толпа отхлынула вперёд, а Сагадат оставалась на месте и всё смотрела наверх, не теряя надежды встретиться с Габдуллой глазами. Те два молоденьких парня, которые уводили в прошлую пятницу девиц, снова выбрали двух. Габдулла пошёл за ними. Сагадат встала на его пути, но он шёл, опустив голову, и вполне мог пройти мимо. Сагадат решила заговорить первой.

– Здравствуй! – сказала она.

Габдулла посмотрел на неё широко открытыми глазами и молча прошёл в дворницкую.

Всё, это был конец!.. Сагадат теряла последнюю надежду. В ту минуту крохи добродетели, взращённой в доме муллы, которые ещё оставались в ней, превратились в зло, вера в справедливость Аллаха умерла. А как же иначе? Ведь человек, принёсший ей столько горя, отправился, чтобы сделать несчастной ещё одну такую же девушку. Он богат, счастлив, доволен собой, ему дано столько власти над людьми, что может делать с ними, что захочет. В то же время тот, кто в жизни не причинил никому вреда, она имела в виду старика с редисом, живёт в неслыханной нищете. Разве это справедливо?!

Она быстро направилась к выходу. В душе не было ничего, кроме злости и ненависти. Никого не слушая, Сагадат выбежала на улицу. И это была уже третья Сагадат.

Она теперь готова была на всё, ни боязнь греха, ни опасение навредить людям отныне не могли бы её остановить. Впечатления прошлой недели сильно ослабили в ней эти качества, а теперь после того, как низко обошёлся с ней Габдулла, умерли вовсе.

Сагадат шла за толпой и остановилась возле каких-то ворот. С ней поравнялись две хорошо одетые женщины, шедшие со стороны Сенного базара. На них были серые пуховые шали, на пальцах золотые кольца. Их остановила третья женщина, которая шла навстречу.

– Марьям, голубушка! – воскликнула она.

Та, которую звали Марьям, была полной, румяной. Спутница же годилась ей в тётушки, а то и в бабушки – под глазами чёрные тени, лицо сморщено, рот большой.

– Где живёшь, Марьям?

– В доме Махуп, – ответила та.

Женщина расспрашивала Марьям о жизни, та отвечала не без хвастовства. Вскоре они попрощались и разошлись.

– Ишь, как вырядилась! А давно ли была такой же нищенкой, как мы? – заметила одна из женщин, наблюдавших за ними.

– Хотя и в грехе, а всё же как барыня живёт – еда всегда готова, одежда что надо, – отозвалась другая.

– Как бы там ни было, всё получше, чем в нищете! – добавила третья.

Четвёртая не согласилась с ними:

– Да что вы несёте? Грех-то какой! Как перед Аллахом отвечать станет? Мы хоть и голодаем, а совесть у нас чиста. И чего там хорошего-то? Разве что пьяные русские, да простит меня Аллах!

– Там не только русские, бывают и наши красавцы, байские всё детки!

Сагадат выслушала всё это. Одежда девушки по имени Марьям, её приветливый вид произвели на неё впечатление. Большинство говорили о ней с одобрением. Если все они не боятся греха, то почему Сагадат должна его бояться? Она сейчас же пойдёт к Махуп. В разговоре упоминали дом жёлтого цвета за озером Кабан. Сагадат по мосту не спеша направилась туда.

В доме было тихо, безлюдно. Она свернула направо. На кухне полная женщина лет тридцати пяти в белом переднике что-то готовила в котле. Увидев Сагадат, спросила:

– Кого надо?

Она ушла, и сверху стала спускаться полная черноглазая женщина с золотыми браслетами на запястьях, на каждом пальце у неё было по два золотых кольца, только глаза потухшие какие-то, без блеска. Она подошла к Сагадат, поздоровалась:

– Здравствуй.

Сагадат рассказала ей всё – кто она и откуда. Отовсюду стали появляться девушки с маленькими калфакками на голове, в разнообразных одеждах. Одни слишком толстые, нескладные и грубые, другие – маленькие и привлекательные, третьи – стареющие с выпавшими зубами. Хозяйка быстро увела Сагадат к себе в комнату. Ковры, большие зеркала, горка белоснежных подушек на постели, по углам шкафы, а в них чашки, чайники. Комната приятно благоухала духами. Женщина сказала:

– Садись вот сюда! Билет у тебя есть?

Сагадат вынула из кармана билет, который был выдан на отца, мать и на неё. Женщина вышла и вскоре появилась с охапкой одежды. Она выбрала для Сагадат два платья, калфак, расшитый жемчугом, сапожки и достала из сундука бусы. Велела переодеться за занавеской. Пока Сагадат одевалась, женщина из кухни принесла шипящий самовар и приготовила всё для чая. Потом обе вышли и хозяйка вернулась, держа в руках тарелку с мясом, над которым курился пар.

Сагадат оделась, посмотрела на себя в большое зеркало. Одежда была чистая. Из зеркала на неё смотрела очень красивая девушка, но почему-то вызывала она чувство брезгливости, и лицо Сагадат вытянулось. В этой девушке от прежней Сагадат, воспитанной в доме муллы, не оставалось ничего.

– Ну что ж, – сказала она себе, – назад пути нет! – и вышла к хозяйке.

Та одобрила её вид:

– Вот как хорошо, после всё это твоё будет, – сказала она и усадила Сагадат за стол.

Сагадат, ещё не успевшая согреться, приступила к чаепитию с большим наслаждением. Такого вкусного чая она не пила давно. И всё же её не покидала мысль, что каждый глоток, выпитый здесь, – отравы. Абыстай рассказывала, как легко живётся её девушкам, перечисляла, какой бай на ком из её девушек женился. Она не неволит девушек, говорила хозяйка, каждая подсаживается к тому, кто ей нравится. Она велела Сагадат поначалу держаться возле неё, а уж потом она сядет только с самым уважаемым гостем и то, если сама захочет. Махуп-абыстай сказала, что Сагадат должна забыть своё имя, отныне её будут звать Шакар.

Сагадат поела мяса, напилась чаю. За дверью послышались звуки скрипки.

– Должно быть, гости пришли, – заметила хозяйка. Посмотрев на Сагадат, сказала: – Хочешь взглянуть на комнаты девушек?

Она провела Сагадат по всем комнатам, называла имена тех, кому они принадлежали. Показав довольно просторную комнату с полами, которые надо было мыть, она сказала:

– Вот эта твоя будет. Живи в ней, как тебе нравится.

Они пошли туда, где играла скрипка. Дверь в гостиную была открыта. В ней сидели двое мужчин и несколько девушек, на столе стояли бутылки, стаканы, наполненные пивом. Едва завидев хозяйку, гости сказали:

– Здорово, Махуп-абыстай!

– Здравствуйте, – отвечала она. Спросила, повернувшись к Сагадат: – Выпить хочешь? Это новенькая, – представила она Сагадат, – сегодня только поступила.

Один из гостей заметил:

– Свеженькая, значит!

Сагадат покраснела от негодования: её, что же, за огурец здесь принимают? Что значит, «свежая» и «несвежая»? Хозяйка заметила это и сказала примирительно:

– Она ещё не привыкла.

Махуп-абыстай показала Сагадат прочие гостиные. Всюду было чисто, везде чувствовался недостаток, однако вся эта чистота вызывала у Сагадат невольное отвращение, словно чистота червяка какого-то. Из гостиной доносились звуки скрипки, пение. Часов в одиннадцать Сагадат стала готовиться ко сну, но дверь открылась, и вошла хозяйка, а с ней кругленький человек с чёрными усиками, маленькой бородкой, сальными глазками.

– Здравствуй, – сказал он и протянул Сагадат руки.

Девушка растерянно взглянула на хозяйку.

– Поздоровайся, это свой человек, – кивнула та.

Сагадат ответила на рукопожатие. Хозяйка позвала её в коридор.

– Если поспишь сегодня с этим человеком, сапожки с кавушами твои будут, – шепнула она. – Я велела приготовить место наверху. Кроме вас, там не будет никого.

Сагадат и в голову не пришло, что следовало бы поторговаться, она согласилась, сказав просто:

– Хорошо.

Спустя немного времени Сагадат вошла с абыстай в комнату с чистой постелью, взбитыми подушками и периной, с кумганами и тазами для омовения. Вскоре хозяйка привела того человека и оставила их вдвоём. Так прошла первая ночь Сагадат в «весёлом» доме.

Телом потомственный почётный гражданин господин Габдулла Амирханович был совершенно здоров, то есть ничем никогда не болел, понятия не имел о страданиях. А вот душой Габдулла, то бишь Габдулла-эфенде, как носитель совести, как человек, знающий, что такое стыд, начал опустошаться понемногу чуть ли не с момента кормления его материнским молоком, когда и закладываются основные черты будущей личности. И теперь, когда он, оставив медресе, начал предаваться с друзьями разгулу, стыда и совести оставалось в нём, можно сказать, самая малость. То и другое молчали, были немые, не заявляли о себе никогда.

В детстве Габдулла играл с сыном дворника. За небольшие ссоры, которые обычны между детьми, дворник лупил своего сына, приговаривая: «Сказано, не трогай байского ребёнка!» Габдулла тогда плакал от жалости к приятелю, ведь страдал тот из-за него. Чтобы загладить перед дружкой свою вину, он на другой день, а то и в тот же вечер, украдкой выносил ему из дома яблоко, кусок пирога или что-нибудь из сладостей, и дружба восстанавливалась. Габдулла радовался, что угодил другу, и испытывал большое облегчение, словно в летнюю жару сбрасывал с себя шубу.

Но теперь Габдулла стал совсем другим человеком. Тех, прежних, чувств у него уже не было или почти не было. Он творил намаз, бывал на кладбище, слушал во время меджлисов хазрата, читавшего Коран, в месяц рамазан слушал проповеди про ад и рай. Но всё это он делал привычно, слушал слова, но не слышал их – в одно ухо входило, в другое, как говорится, выходило. Уже много лет он ни разу по-настоящему не печалился; ничто не волновало его душу с тех пор, как перестал гонять голубей. Он не знал, что такое настоящая дружба, не ведал

и вражды – не было человека, который желал бы ему зла. Ко всему он относился одинаково спокойно и безразлично. Правда, ему нравились девушки, он любил проводить с ними время. Однако и это не приносило его душе подлинной радости, не оставляло в сознании и памяти никакого следа. К еде и выпивке у него тоже не было особого интереса, просто это являлось неплохим способом убивать время, спастись от скуки.

Габдулла очень часто, хотя и не каждую пятницу, выбирал девушек из тех, что приходили к нему за милостыней, и проводил с ними время в дворницкой. Но никого из них не сделал своей содержанкой. Для этого у него были служанки. Каждую девушку, вновь поступившую к ним на работу, он прибирал к рукам и использовал, когда была в этом нужда. Но если они уходили, он тут же забывал о них без малейшего сожаления. В публичном доме Габдулла-эфенде предпочитал проводить время с самой красивой из девиц, но вовсе не для удовлетворения своих эстетических потребностей, а просто для того, чтобы приятели видели: его девушка – самая лучшая.

Это был тот самый Габдулла, который в упомянутую нами пятницу обрушил на голову Сагадат столько несчастий. На человека он был похож лишь снаружи и от бездушного бревна отличался только тем, что умел ходить, видеть и слышать. В смысле духовного содержания он был не просто бревном, а бревном от усохшего дерева. Он высмотрел Сагадат со своей террасы и провёл с ней время лишь для того, чтобы потешить свою похоть. Резкие слова Мансура, конечно же, подействовали на него тогда, но совсем ненадолго. И разозлило его не содержание услышанного, а то, что он, почётный потомственный гражданин господин Габдулла Амирханович, позволил какому-то учительшке, босяку так говорить с собой. Но и это было забыто очень скоро.

Глядя на Сагадат, он с самого начала думал лишь о том, что сделает с ней. Ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь он вспомнит об этой девушке. Разве что её необычайная податливость, горькие слёзы и этот безумный поцелуй на прощанье, заставивший его, как от электрического удара, содрогнуться всем телом, чуть-чуть, самую малость потревожили его парализованную душу.

После того, как Сагадат убежала, он пошёл в дом, думая о том, что эта девушка навсегда ушла из его жизни. Никогда он не вспомнит о ней, если только Сагадат сама не возникнет на его пути. Впервые в жизни он задумался о том, какая судьба ждёт девушку. Сагадат вложила в свой поцелуй столько страсти и ожесточения, что они проникли в сердце и жгли его. Матери дома не было. В зале был накрыт стол к обеду. Приятели его, хохоча, рассказывали друг другу о своих похождениях. Как только Габдулла появился в неосвещённой прихожей, оба, продолжая смеяться, вышли к нему.

– Ну и как дела, жених?

На губах Габдуллы ещё не прошёл вкус поцелуя Сагадат, но он, как и его приятели, смеясь, стал умываться над мраморной раковиной, тщательно почистил порошком зубы и прошёл в зал. После умывания ощущение поцелуя, вроде, ослабло, но не прошло совсем. Во время еды оно исчезло. Сагадат тоже улетучилась из памяти. Три молодых человека, не переставая смеяться, ели обед из трёх блюд, заедая разнообразными закусками, и, чтобы протянуть время, принялись за чай. Поскольку ещё было слишком рано, решили немного прогуляться.

Ночью Габдулле снились кошмары, связанные почему-то с той девушкой и Мансуром. Проснулся с ощущением поцелуя на губах, словно Сагадат запечатлела его только что. Он старательно умылся, оделся и сел пить чай.

После чая принялся за уроки, но от Мансура пришла записка, в которой он извещал, что сильно простудился вчера и прийти не сможет, доктор советует ему три-четыре дня не выходить из дома. Габдулла оделся и пошёл гулять. Мансура не будет целую неделю, Габдулла снова остался без дела. Он, как всегда, стал прожигать время в обществе друзей. Настала пятница. Габдулла от нечего делать решил выбрать девушку и уж выбрал её, но снившаяся девушка

встретилась во дворе и сказала что-то. Габдулла вмиг почувствовал на губах поцелуй. Сердце его снова задрожало. Но это продолжалось недолго. Он прошёл в дворницкую, заговорил с новой избранницей и выкинул из головы ненужные мысли.

Дома как всегда тщательно почистил зубы, прополоскал рот, поел и опять превратился в потомственного почётного гражданина господина Габдуллу Амирхановича.

В памятный день, когда Сагадат так жестоко пострадала, Мансур-эфенде, стоя на террасе с Габдуллой и его приятелями, искренне пытался отговорить их от мерзкой затеи, приводил много доводов, отстаивая свою правоту, но на байских отпрысков это не произвело впечатления. Было ясно, что они окончательно погрязли в пороке и говорить с ними бесполезно. В сердцах Мансур наговорил много резких слов и, чтобы не видеть этого бесстыдства, быстро ушёл.

По дороге к дому и даже придя к себе, он не мог думать ни о чём другом. Со всех сторон пытался оценить это зло. Как же можно, думал Мансур, чтобы из-за этих никчёмных личишек разбивалось счастье молоденьких девушек, была исковеркана их бесценная жизнь? Он не сумел помешать преступлению и был вне себя от злости.

Вечером он рассказал всё, что видел, друзьям, но ничего нового, кроме осуждения байских сынков, выяснения гадких подробностей, разговоров о том, какая горькая участь ждёт бедных девушек, не услышал. Переживания по этому поводу заполнили весь день Мансура, не было покоя и ночью: до утра снилась ему та девушка в разных очень печальных и жалких обстоятельствах.

Утром грустные мысли не покидали Мансура-эфенде. Ночь выдалась беспокойная, с вечера его продуло, голова разламывалась, трудно было собраться с мыслями – было похоже, что он заболел. Он не пошёл в школу, а обратился к врачу.

Мансур-эфенде тихонько лежал в постели, всё думая о той девушке. Он собирался поговорить о ней с Габдуллой. Надо было хорошенько продумать, с чего начать разговор, какими доводами подкрепить слова. Мансур должен объяснить, как подло и недостойно поступает Габдулла, что в каждом человеке, даже в отъявленном негодяе рано или поздно просыпается совесть, и нет на свете ничего ужасней, чем муки пробудившейся совести.

Через неделю, на следующий день после того, как Сагадат, потеряв всякую надежду на счастье, окончательно возненавидев всех и себя в том числе, очертя голову бросилась в омут разврата, Мансур-эфенде отправился к Габдулле. По дороге он снова мысленно повторил то, что собирался сказать. Однако представляя перед собой Габдуллу, он испытывал непонятное смущение, как шакирд, попавший в ашхану. Казалось, что-то должно помешать ему говорить. Мансур поздоровался, избегая смотреть на Габдуллу, и урок начался. Они переговаривались, но в глаза друг другу не смотрели. Мансур был занят своими мыслями, а Габдулла при виде Мансура опять почувствовал на губах поцелуй девушки, и это не давало ему покоя.

Урок подошёл к концу, а Мансур всё не решался заговорить о Сагадат, хотя и знал слова наизусть. Габдулла догадывался, что учитель собирается сказать что-то, и почти не сомневался, что речь его будет связана с событиями, закончившимися тем поцелуем. Вид Мансура беспокоил его.

Рано утром, когда Мансур ещё лежал на своей скрипучей кровати, в комнату к нему вошёл Габдулла. Он был явно чем-то встревожен. Что-то очень важное вынудило потомственного почётного гражданина господина Габдуллу Амирхановича против собственной воли унизиться до посещения убогого жилища нищего учителя. При виде Габдуллы Мансур-эфенде от изумления чуть было не свалился с кровати. Габдулла молчал, смущённо краснея. Не дожидаясь, пока Мансур оденется, он заговорил:

– У меня к Вам большая просьба, Мансур-эфенде. Не могли бы Вы пропустить сегодня занятия и уделить мне время, чтобы поговорить где-нибудь?

5

Когда они выходили из харчевни, настроение Мансура-эфенде и Габдуллы было совсем другое. На лицах обоих читалась решимость, во взорах горела смелость, в облике угадывалось благородство. Похоже, оба стали думать и чувствовать одинаково, и пропасть, разделявшая их, исчезла.

Всю неделю, пока не было занятий, Габдулла нет-нет да и задумывался над сердитыми словами Мансура, сказанными на террасе. Поцелуй Сагадат, который ощущался им, как клеймо на губах, лишил его покоя. Это вынуждало Габдуллу постоянно размышлять о несчастьях, ожидавших обиженную им девушку, плакавшую так горько и безутешно. Было тяжело вспоминать о гнусном своём поступке.

Случилось невероятное – Габдулла стал понимать, что дорога, по которой он идёт, скользкая и безнадёжная, что постыдная жизнь обернётся для него в будущем тяжким бременем. Дошёл даже до того, что готов был на любые жертвы, чтобы искупить свой грех в отношении бедной девушки. Он желал навсегда покончить с мерзавцем Габдуллой Амирхановичем и превратиться в другого, совестливого и человеческого Габдуллу-эфенде.

В муках рождается ребёнок, но мать сознательно идёт на них, потому что счастье материнства того стоит. Так и Габдулла-эфенде, пройдя через мучительные раздумья, переживания раскаявшегося грешника, испытывал радость надежды увидеть себя достойным человеком. Представляя, как станет жить в ладу с совестью, он давал себе клятвенные обещания, что не свернёт с этого пути. Ему доставляло удовольствие мысленно бродить по роскошным садам будущего, одни заманчивые видения сменялись другими. Там, впереди, ждало его много наслаждений, озарённых светом нравственности и духовности.

Каждую минуту он ощущал, что перерождается в другого Габдуллу, и чувствовал себя узником, проводившим много лет в неволе и рисовавшим теперь в своём воображении свободу – зелёные рощи, луга, усыпанные цветами, море, где перекатываются живые волны. Из всех сил старался он измениться так, чтобы быть в ладу со своей совестью, и был уверен, что вырвется, наконец, в волшебные сады, которые существовали пока лишь в его мечтах, насладится тихим шелестом воображаемых лесов, будет бродить по берегу огромной реки, прекрасную гладь которой волнует ласковый ветерок. Он готов был полной грудью вдыхать аромат цветов, бесконечно наслаждаться красотой леса, с божественным трепетом припадать к прозрачной реке и радоваться, и прыгать, и кувыряться в шелковистых травах волшебных лугов новой жизни.

В этой новой своей жизни он всегда видел рядом с собой Мансура-эфенде, которого полюбил всей душой, дружбой которого дорожил. Они становились всё ближе друг другу. Продумывая каждый шаг своей преображённой жизни, он не мог её представить себе без Мансура-эфенде, в поддержке которого нуждался. В неизбежном противостоянии матери и близким ему будет гораздо легче, если Мансур-эфенде окажется рядом.

Радости Мансура тоже не было границ, когда он, наблюдая за Габдуллой, видел, как тот меняется на глазах, превращаясь из скотины, каким был, в человека. Мансур гордился собой, ведь он сумел пробудить в Габдулле дремлющую совесть, спас хотя бы одну душу, которая была уже почти потеряна. Это великая победа! В будущем Мансур тоже видел Габдуллу в числе близких своих друзей. Он понимал, как отчаянно станет сопротивляться мать Габдуллы, его близкие решению молодого человека разыскать бедную девушку, чтобы жениться на ней, какие огромные трудности предстоит ему преодолеть. И, наконец, предвидел, как нелегко будет отыскать в большом городе девушку, не зная о ней почти ничего. Эти мысли омрачали его радость. К тому же о том, что они ищут девушку, не должен был знать никто. А как это скрыть? Вначале Мансуру казалось, что они справятся с этими трудностями, но чем больше он задумывался о

том, как это осуществить на деле, тем больше понимал, что был излишне самоуверен. И всё же надежда ещё теплилась в его душе.

Мансур слишком хорошо знал нравы, царившие в татарских домах, представлял, как относятся к подобным историям в богатых семьях, поэтому не сомневался, что главным препятствием на их пути станет мать Габдуллы, его сёстры, его близкие. В этой среде за деньги покупалось всё, вплоть до законов нравственности, однако нарушение их собственных законов не прощалось. Вот почему эти опасения он считал очень серьёзными. Габдулла с Мансуром продумывали каждый свой шаг со всех сторон. Открыться матери Габдуллы, сказать, что он собирается жениться на такой девушке, было бы безрассудством, потому что это могло сорвать их планы. Решено было молчать до тех пор, пока мать Габдуллы сама обо всём не узнает. А уж там идти избранным путём, ни на что не обращая внимания – ни на слёзы, ни на упрёки, ни на угрозы.

Первым их делом было найти девушку. Габдулла был ещё молод, а поиски требовали много сил и времени. Эту нелёгкую работу Мансур взял на себя. Дело было чревато неожиданными поворотами, ведь девушка могла оказаться где угодно. Они договорились действовать осторожно и не откладывая. Для начала обратились к дворнику, но тот довольно много знал о двух девицах, которые были в тот день в дворницкой – их имена, где жили, из каких семей, – однако о Сагадат не мог сказать ничего. Она пропала бесследно.

Можно было подождать до пятницы и поискать Сагадат в толпе или расспросить о ней других нищенок, но откладывать поиск было нельзя. Мансур попросил Габдуллу подробно описать внешность Сагадат и, не теряя времени, собрался пойти в кварталы, где жила беднота. Габдулла заявил, что не оставит Мансура до тех пор, пока не найдут девушку, и пошёл с ним. Они намерены были искать её в Ново-Татарской и Ягодной слободах, а также на улице Тегаржеп, обойти все известные пристанища бедноты.

6

На улице, где жил Габдулла, нищих старух, калек, сирот было довольно. Мансур решил начать расспросы с них и посоветовал Габдулле отойти в сторонку, поскольку он был слишком известным человеком и слух о том, что он интересуется какой-то нищенкой, мог повредить его репутации. Однако Габдулла не согласился с ним.

Мансур был озадачен упрямством Габдуллы, но возражать не стал. Он подошёл к нищим и стал расспрашивать их. Оборванцы, видя, что хорошо одетым молодым людям что-то надо от них, окружили приятелей кольцом, и каждый стал отвечать на их вопросы. Они не только отвечали на вопросы, но и сами задавали их:

– Зачем она вам? Кто она такая?

И чем дольше приятели стояли там, тем больше было шуму, тем плотнее становилось людское кольцо, окружавшее их. Они уже не надеялись на вразумительный ответ, хотели лишь узнать где больше живёт бедняков, собирающих закят. Так и не выяснив ничего толком, пошли дальше, но тут какой-то человек окликнул Габдуллу:

– А, Габдулла-бай, здорово! А ну-ка, пожалуй мне закят, я ведь отца твоего знал. Фамилия моя... – и он назвал известную в Казани фамилию.

Не успел Габдулла достать из кармана деньги, как с другой стороны улицы побежал к ним хромой старик, крича:

– И мне подай, сынок! Я помолюсь за тебя, чтобы дорога твоя была удачной.

Подросла женщина с ребёнком на руках, протянула руку:

– Абзыкаем, помоги малому ребёнку.

Габдулла подал и ей. А тут подскочила девчонка, закутанная в сорок разных тряпок:

– Абый! Отец болен, мама умерла, подай мне!

Габдулла посмотрел на девчонку. Её бледное личико, одежда, похожая на мешок, сшитый из лоскутьев, вызвали у него острую жалость. Его потянул за рукав полный человек и сказал:

– Мулла Габдулла, мулла Габдулла, мне тоже подай, я хальфой при ахун-хазрате состоял.

Габдулла обернулся и увидел человека, который раньше был хальфой в медресе, но потом спился и его нередко видели валяющимся на улице. На него тоже было больно смотреть. За хальфой подошёл человек в чалме, потом старуха, потом ребёнок, а за ними и все остальные стали тянуть к нему руки, выпрашивая милостыню, и каждый бормотал что-то о своих бедах. Габдулла растерянно смотрел на нищих, обступивших его со всех сторон.

Тут вышел дворник и стал разгонять попрошаек:

– А ну, дайте пройти хазрату!

Габдулла лицом к лицу оказался с хазратом. Он отвёл взгляд, но его тут же окликнул бай, живший по соседству:

– Ты что тут делаешь, Габдулла? – удивился он.

Будто воришка, пойманный за руку, Габдулла молча краснел, не зная, что сказать. Он вдруг вспомнил, кто он такой, что ему не место среди нищих. Было очень неловко. Он досадовал на себя за то, что не послушался Мансура и влез в толпу. Тут одна нищенка подошла к соседу и сказала:

– Да они девушек спрашивают.

– Понимаю, понимаю, – усмехнулся бай и весело поглядел на Габдуллу. – Что ж, такое бывает.

Габдулла снова залился краской.

Из дома крикнули:

– Пора тахлилль читать! – И бай торопливо исчез за дверью.

Габдулла перешёл на другую сторону улицы. Настроение его испортилось, стало казаться, что они с Мансуром взялись за невыполнимое дело. А тут ещё знакомых встретил, теперь уж точно матери донесут, и вся Казань узнает, что его видели среди нищих, пойдут разговоры, пересуды, имя Габдуллы будет вываляно в грязи.

Тот, кто только что был полон храбрости и благородства, явно струсив, мгновенно превратился в прежнего Габдуллу, который как чумы боялся сплетен. Когда он немного успокоился, решимость довести задуманное до конца вернулась к нему, и он вместе с Мансуром отправился в кварталы, где ютилась беднота.

7

Появление в ветхом доме, обители голытьбы, двух хорошо одетых людей, взбудоражило жильцов. Пройдя через загаженные коридоры с замызганными дверями, приятели вышли во двор в надежде встретить там дворника. Сгрудившись в грязных окнах, на них с любопытством таращились мужчины, женщины, дети. Их особенно удивило, когда эти двое остановились посреди двора и заговорили со стариком. Люди потянулись из дверей, думая, что узнают что-нибудь полезное для себя. За одну минуту Габдулла с Мансуром взяли в кольцо старики, старухи, дети, женщины, жующие серу, девицы с нарумяненными щеками. Все желали знать, что привело к ним чужаков. Мужчины надеялись, что эти двое ищут работников, женщины – служанок, а накрашенные девицы преследовали свой интерес – наперебой предлагали услуги. Габдулле с Мансуром не нужны были руки голодных мужчин, тела голодных женщин, их продажная любовь, они хотели лишь знать, где дворник, чтобы расспросить его о Сагадат.

Люди подозрительно смотрели на молодых мужчин, которые спрашивали дворника, а сами пялились на каждую молодую женщину. Это вызвало у жителей трущобы разные толки. Большая часть, особенно женщины, считали, что они ищут продажную любовь, а потому стали пускать в ход весь арсенал завлекательных приёмов, каким владели: улыбались, поддёргивали бровями, подмигивали. Те, что стояли ближе к дверям, манили их пальцами, подзывали рукой. Мансору и Габдулле было тяжело видеть их тщетные усилия. Они думали о спасении лишь одной загубленной души, а потому ужимки этих женщин ничего, кроме жалости и отвращения, у них не вызывали. Мансур понимал, что причина такого поведения женщин – голод, а потому смотрел на это спокойно, тогда как Габдулла, не представлявший себе, что способен делать с людьми голод, считал кривляние женщин позорным. Ему было не по себе среди голодных старух и стариков, детей в лохмотьях, среди накрашенных девиц с бесстыжими глазами, от которых разило гвоздичным маслом и грошовым одеколоном. Он чувствовал себя так, словно попал в плен к племени дикарей, языка которого он не понимал. Вся эта отталкивающая обстановка вновь пробудила в нём сомнение. Теперь он ясно видел, каких беспокойств и самопожертвований требуют поиски Сагадат. Все эти мысли возвращали его к прежнему Габдулле – хотелось махнуть на всё рукой и зажечь привычной беспечной жизнью. Не следует ли быть осторожней в своих суждениях и прежде, чем давать обещания, крепко подумать: а стоит ли дело таких жертв?

Перемена в его настроении не ускользнула от внимания голытьбы, которая истолковала это по-своему. Один из мужиков сказал:

– Так вам дворник нужен? Пойдёмте, это здесь! – и повёл их за собой.

Габдулла не без колебаний двинулся следом. Нищие с завистью смотрели на находчивого собрата. Чтобы перетянуть баев на свою сторону, девицы удвоили свою завлекательную деятельность. Сзади кто-то крикнул:

– Да врёт он, нет у него никакой дочери!

Мансур с Габдуллой не обратили на это внимания. Вот мужик открыл дверь, возле которой сидели старообразная женщина и молодая в платке.

– Дорогу дайте! – заорал он. Те молча отошли в сторонку. Стали спускаться в подземелье. В нос Габдулле ударил затхлый, кислый воздух, но он всё же продолжал идти. Кто-то схватил его за руку. Он поднял глаза и увидел женщину с мерзкой улыбкой, обнажавшей чёрные крашенные зубы. От неё разило кислой вонью вперемешку с какими-то дешёвыми благовониями. Оглядевшись, он увидел, что оказался в душной камерке, освещённой крошечными окошками.

Никогда в жизни не приходилось Габдулле видеть столь скудного жилища, каждая вещь в нём потрясала убожеством, так что навечно врезалась в память. Он с изумлением стал осматриваться. Напротив двери небольшое саке между замёрзшими, покрывшимися наледью окнами,

на нём свалены какие-то лохмотья. Вдоль стены лежал ребёнок с бескровным, белым, как полотно, лицом. За ним дырявый, залатанный в нескольких местах полог, а там кровать с довольно чистой подушкой, укрытая одеялом, рядом стол, два стула и деревянный сундук.

Габдулла поглядел на печь. Там стоял маленький жестяной самовар, на шестке – несколько чашек. Все эти вещи... Да он и подумать не мог, что на свете бывает такое! Люди его круга жили в совершенно иной обстановке. Это жилище, эта вонь, этот никогда не мытый пол, это саке с кучей лохмотьев – всё вызывало в нём отвращение. Было стыдно смотреть на весь этот ужас. Его чувства отразились на лице. Оно покраснело, а глаза стали быстро моргать. Мансур, видя, что творится с Габдуллой, понимая его состояние, решил поскорее покончить с делом и открыл было рот, чтобы сказать что-то, но хозяин перебил его:

– Давайте, давайте, проходите, – сказал он и усадил их на кровать. – Хотя жильё наше и не очень хорошее, зато здесь тихо. Вам, шакирдам, в самый раз будет. Да и красотки у нас не из «таких» – мужние жёны.

Тут, неизвестно откуда, снова явилась та женщина и скривила в улыбке свой безобразный рот. Габдулла с мольбой посмотрел на Мансура, тот понял его.

– Нет, абзый, мы по другому делу – сказал он. – Нам девушки не нужны, мы ищем лишь одну девушку.

Глаза хозяина заблестели по-другому. Он принимал гостей за шакирдов, которые пришли потешиться с девушками, а они, похоже, сами содержат «весёлый» дом и ищут сбежавшую шлюху.

– Что, сбежала? А звать-то как? – начал было он выспрашивать, но Мансур заметил, что они не из публичного дома. Хозяин ему не поверил.

– Ну а имени-то почему не знаете? Паспорта у ней не было, что ли? – продолжал он задавать вопросы.

Мансур повторил, что к публичному дому они отношения не имеют, а бедную девушку ищут из жалости. Глаза хозяина по-прежнему смотрели недоверчиво. Он решил, что они – родственники сбежавшей шлюхи.

Тут дверь открылась и в клубах морозного воздуха вошла женщина. Она быстро подошла к ним и протянула руки, желая поздороваться.

– Какие мягкие! – вскричала она, пожав руки Габдуллы.

Габдулла покраснел. Они с Мансуром посмотрели друг на друга. Мансур видел, что Габдулле не терпится уйти отсюда.

– Нет, абзый, девушки нам не нужны, мы хорошо отблагодарим тебя, ты только найди нам пропавшую девушку, – сказал он, желая поскорее закончить разговор.

Его слова обидели женщин:

– Подумаешь, – сердито заговорили обе разом, – выбирают ещё! Эта ваша, небось, тоже не дочка падишаха!

Мансур пытался объяснить, в чём дело, но они не слушали его, продолжали ворчать и ругаться.

Мансур кивнул Габдулле, тот встал. Это не понравилось хозяину.

– Почему не хотите посидеть? Найдём вам других девушек.

Мансур, давно поняв, что разговаривать с этими людьми бесполезно, вынул из кармана деньги и протянул мужчине.

– Вот, абзый, мы побеспокоили тебя.

При виде денег настроение женщин изменилось, они стали хватать Мансура с Габдуллой за руки и канючить:

– Уж посидите, миленькие, ещё, посидите...

Видя, что Габдулла с Мансуром уходят, не обращая на них внимания, обе закричали вслед:

– У-у, шакирды! Нищие шакирды!

Габдулла расправив грудь, с жадностью глотал холодный свежий воздух, который после вонючего подвала казался очень приятным. Чтобы избавиться от гнетущего впечатления, он быстрыми шагами пошёл в дальний конец двора. Опять стали открываться двери, и во двор высыпали знакомые уже обитатели трущобы. Габдулла с Мансуром остановились посреди двора, не зная, как ещё надо говорить с этими людьми, чтобы хоть что-то узнать, и снова оказались в кольце нищих. Тут какая-то молодая женщина протиснулась к Габдулле и выпалила:

– Здравствуй, прекрасный юноша, пошли к нам!

Габдулла обернулся и увидел перед собой довольно смазливую молодую женщину. Ему показалось, что раньше он уже где-то видел её и даже разговаривал. Он спросил:

– Ты знаешь меня?

– Ну вот ещё, – воскликнула она. – Как же тебя не знать! Ведь ты Габдулла-бай.

Её слова подействовали на сброд как разряд электрического тока. Все вдруг оживились и уставились на женщину. Новость в одно мгновение облетела нищенское захолустье, теперь каждый знал, что явился сам Габдулла-бай и ищет какую-то бедную девушку.

Габдулла вдруг вспомнил, что видел эту женщину у себя во дворе, и покраснел, подумав, сколько же подобных женщин прошло через его руки. И чем больше их было, тем больше они становились похожи друг на друга. И вот уже черты всех этих женщин, служанок, девушек-побирушек будто слились в облик одной, огромной женщины. Эта особа в лохмотьях, с нарумяненными щеками, с голодными мокрыми от слёз глазами, распространяющая запах дешёвого одеколona, казалось, стояла в позе человека, приготовившегося драться с ним. Её огромные глаза горели ненавистью, в грязных лохмотьях таились заразные болезни, готовые перекинуться на него.

Видение действовало на Габдулла угнетающе, хотелось поскорее избавиться от него. Поэтому он сказал Мансуру:

– Давай зайдём к этой молодой женщине.

Мансур прекрасно видел, что это за женщина, но всё же надеялся найти через неё хоть какие-то концы, которые могли бы навести их на след, и согласился. Уйдя наконец-то от крикливой толпы, от назойливых взглядов, жестов, телодвижений проституток, они испытали облегчение, оказавшись в крошечной каморке. Хозяйка была на седьмом небе от радости и, подумав, что обязана своим счастьем знакомству с Габдуллой, обвила его шею руками и запечатлела на щеке долгий поцелуй, выражая таким образом свою благодарность. От неожиданности Габдулла застыл на месте, лицо его залилось краской. Он виновато поглядел на Мансура и, прочитав в глазах друга насмешку – мол, всё ясно, старые грешки, – опустил голову.

Женщина суежилась вокруг них, приглашая:

– Садитесь, садитесь!

От нечего делать Габдулла стал оглядывать комнату. Рваная занавеска, маленькое саке, над ним висело белое платье, а под столом он заметил пустые бутылки. В углу комнаты стоял сундук, на нём лежала женщина со встрёпанной головой, ноги её в стоптанных ботинках и грязных рваных чулках свисали с сундука. Габдулла смотрел на всё это с безразличием.

Женщина принялась будить спящую:

– Фатыма! Фатыма! Гости у нас! Вот ведь вонючка какая, не хочет просыпаться, – пожаловалась она, обернувшись. – Понятное дело, наклюкалась, как свинья. А ведь жаловалась, будто заболела, будто всё тело у неё ломит.

Как ни уверял Мансур: «Да не нужна она нам, мы по другому делу», – та настойчиво продолжала трясти подругу, пока не добилась своего.

Фатыма, проснувшись, увидела гостей и, вскричав: «Ай!», словно её застигли за постыдным занятием, соскочила на пол.

Красная физиономия, осоловелые глаза делали её ещё безобразней. Она пыталась опра-
вить на себе одежды, но сильно покачнулась и чуть не упала, потом, разинув большой рот,
принялась зевать. При виде её чёрных крашенных зубов, большого языка Габдулла с отвраще-
нием отвернулся. Она потягивалась, зевала и, наконец, решив, что с «туалетом» таким образом
покончено, подошла к мужчинам и протянула руки:

– Здравствуйте.

Мерзкий запах перегара, смешанный с вонью немытого тела, исходивший от неё, был
невыносим.

Обращаясь к первой женщине, Мансур рассказал, что привело их сюда. Но она, как и
все, ничего не поняла и сказала:

– Она, что же, так уж хороша, что ли? Хотите обидеть нас?

Говорить было бесполезно, уйти просто так – неловко, и Мансур достал деньги.

Обе женщины бурно запротестовали:

– Мы не нищенки, подаваний нам не надо!

Мансур, испугавшись, как бы те не затеяли скандал, схитрил:

– Да я же за пивом послать собирался.

– Так бы и сказал. Сколько бутылок купить, шесть?

– Да, да, шесть, – сказал Мансур, ещё добавляя денег.

Услышав о пиве, обе женщины повеселели. Особенно та, которая спала. Зевая и глотая
слюни, она с нетерпением ждала, когда подруга принесёт его. Но вот и пиво подоспело. Мансур
с Габдуллой пить отказались, и женщины снова раздосадовались:

– Больные, что ли? Да ерунда это! – заговорила та, что звалась Фатымой. – Вот и я боль-
ная, а всё ж пью – и хоть бы что. Наша Сарби-абыстай знает, как больных пользоваться.

Мансур, думая лишь о том, как бы поскорее выбраться отсюда, спросил:

– Чем болеешь-то?

– Да не болею я, – махнула Фатыма рукой, – выдумывают доктора. Прокол, говорят, надо
сделать. Как бы не так! Да чтобы я позволила урусу, не боясь Аллаха, сделать себе прокол!

Она стала рассказывать о своей болезни. Габдулле стало страшно. Он подумал о том, как
опасно иметь дело со случайными женщинами.

Но одних разговоров хозяйкам было мало, они требовали, чтобы молодые люди выпили.
Видя, что уговоры на них не действуют, одна из них схватила гармонь и принялась играть,
другая затянула песню неприятным, хриплым голосом. От этого омерзение, вызванное гряз-
ным, вонючим, некрасивым жилищем, лишь усилилось. Слышать звуки надтреснутой гармони
и пение подвыпившей женщины, страдающей дурной болезнью, было свыше сил.

Мансур попросил разрешения уйти и поднялся. Но женщины пристали с уговорами:

– Оставайтесь ночевать!

Наконец, согласившись отпустить, полезли к ним с объятиями и поцелуями. Сифили-
тичка повисла на шее Габдуллы и ему пришлось употребить большие усилия, чтобы не дать
себя поцеловать.

Когда вышли во двор, было уже темно. В подслеповатых окошках нищенских жилищ
светились слабые огоньки. Было морозно, дым из труб кичливо поднимался в небо, будто пре-
зирал весь этот неприглядный мир. Во дворе не было ни души. Вся голытьба сидела по своим
жалким углам. Только где-то вдали надрывалась осипшая гармонь, губя тишину и измываясь
над ушами Габдуллы. Молча, думая каждый о своём, они направились к воротам. Проходя
мимо, заглядывали в окна в надежде увидеть там Сагадат.

Вот муж с женой сидят за столом и пьют чай. Вот женщина что-то шьёт на машинке,
вот женщина одевается, вот несколько человек курят в темноте, вот ещё чьё-то жильё: старуха
готовится к чаепитию, а старик совершает намаз. Старик привлёк их внимание.

Было странно видеть среди отбросов общества человека, творящего намаз. У обоих разом возникло желание поговорить со стариком, и они свернули к двери. Их впустили, и Мансур с Габдуллой очутились в маленькой каморке. Старуха растерянно смотрела на внезапно появившихся молодых мужчин, старик же, не обращая на них внимания, продолжал молиться. На вопрос старухи, что их привело, они ответили:

– Нам бабай нужен.

Ожидая, когда освободится хозяин, они разглядывали каморку. Впрочем и смотреть-то было не на что. Всё убранство – куца занавеска, небольшой сундучок да самовар, исходивший парами. Старуха, окинув их подозрительным взглядом, поинтересовалась:

– Для чего он вам понадобился?

– Надо бы дверь сколотить. Слышали мы, что бабай мастер по этой части, – нашёлся Мансур.

Станный ответ лишь усилил подозрения старой женщины.

– Да кто вам такое сказал? – удивилась она, широко раскрыв глаза. – Какой же из него плотник, если он на базаре торгует?

– Вот и хорошо, у нас есть одежда, которую мы хотели бы продать.

Старуха, решив, видно, про себя, что перед ней жулики, сказала твёрдо:

– Такой товар он не принимает.

Старик недовольно поёрзал.

– Мы мешаем бабаю, – сказала она и замолчала.

Мансур с Габдуллой, глядя на глубокие морщины старой женщины, думали о том, как много, похоже, пришлось ей страдать в этой жизни.

Мансур тихонько спросил её:

– А разве сына нет у вас, эби?

– Был, милый, и сын был, и сноха была, и дом у нас был, и земля. – Она вздохнула.

– И куда всё это девалось?

– Сам дал, сам и взял. Смирились с судьбой.

Говоря это, женщина изменилась в лице. Морщины, казалось, стали ещё глубже, в глазах появилась боль. Видно, в душе её проснулось пережитое большое горе. Она задумчиво заговорила, словно сама с собой:

– Было, родимый, всё было. В голодный год украл сын козу, так поймали его... по улицам водили, били, пока не порешили вовсе, – сказала она. – Последние слова дались ей с трудом – по шершавым щекам скатились две крупные слезинки. Старуха, напуганная, что у незнакомцев могло сложиться плохое мнение о её сыне, добавила:

– Да разве ж был он вором? Не то что чужого, он и своего-то без спросу никогда не трогал, спрашивал бывало: «Эни, можно, я это возьму?» Он и яйцо взять не мог, не то что козу. Год холодный был. Отец шёл от ишана, промёрз весь да и свалился. Есть стало нечего. Два дня голодали, ни крошки во рту не было, боялись, что помрёт старик с голоду. Вот сын подумал, подумал да и решился. В соседнюю чувашскую деревню пошёл. Я и не догадывалась. Только на другой день узнала, что убили его. – Она плакала, даже не пытаясь остановить слёзы.

На Габдуллу вся эта история с голоданием, воровством ради того, чтобы не умереть с голоду, с гибелью забитого насмерть человека, вынужденного пойти на воровство, произвела большое впечатление.

Он представил себе сына старухи, такого же как старик, хорошего, доброго, творящего по вечерам намаз, и потом его худое тело в крови. Казалось, Габдулла слышит последние слова несчастного, его проклятие всех сытых. Отчего же в этой жизни так всё несправедливо? Одни умирают с голоду, другие не знают, куда девать богатство? Мысли его прервал старик, который, закончив молиться, спросил:

– Какое у вас дело?

В его глазах Мансур также заметил недоверие. Откровенно, не скрывая ничего, он сказал, зачем они здесь. Старик ничего не понял. Он, как и все, решил, что они ищут девушек для развлечения.

– Нет, сынок, нет, такими делами в свои шестьдесят восемь лет не стану заниматься, – жёстко сказал он.

Мансур снова объяснил всё, подробнейшим образом. Похоже, старик начал понимать, что к чему, а старушка всё ещё смотрела недоверчиво. Но это не помешало ей перечислить и описать всех женщин, проживающих по соседству. По мнению старушки, одна девушка, пожалуй, была похожа на Сагадат. Молодые люди попросили проводить к ней. Сначала старик отнекивался, говоря, что не имеет к этим людям никакого отношения, но когда Мансур протянул ему довольно внушительную сумму за услуги, согласился. Появление двоих незнакомцев в сопровождении старика, вызвало у хозяев дома – мужчины средних лет и бритого парня, а также у женщин за занавеской – недоумение. Семейка эта занималась продажей краденого и сдавала жильё ворами, приезжавшим из других городов, а потому Мансур с Габдуллой были приняты за обычных клиентов. С ними заговорили на условном воровском жаргоне. Мансур с Габдуллой ничего не поняли, и это вызвало у хозяев подозрение. Теперь их сочли за сыщиков, но объяснения Мансура немного успокоили этих людей. Они, конечно же, не поверили ни единому слову чужаков, решив: «Всё ясно, это изголодавшиеся по женщинам байские сынки». Задумав, видно, обобрать их, вору с готовностью подтвердили:

– Да, есть такая, есть, да только живёт в другом месте. Пойдёмте, мы отведём вас.

– Вы не поняли, – возразил Мансур, – старик сказал нам, что похожая женщина живёт здесь у вас, потому-то мы и пришли.

Услышав это, бритый мужчина разозлился. Он вскочил и начал обзывать их постыдными словами:

– Ты что же, за моей женой сюда явился?! Хочешь законную мою супругу забрать? – накинулся он на Мансура, размахивая руками.

Мансур пытался объяснить точнее, но человек, похоже, вошёл в раж. Габдулла испуганно отскочил поближе к двери, Мансур тоже стал отступать. Но тут из-за занавески выскочила женщина и закричала:

– Так вам я нужна? Вот она я! – и вклепила Мансуру здоровую затрещину.

Мансур не успел понять, что произошло, видел только, как дверь открылась, и Габдулла исчез за ней. Он тоже бросился следом, но прежде чем очутиться за дверью, почувствовал, как сзади ему нанесли жестокий удар по шее. Очень быстро, собрав все свои силы, он спрыгнул с лестницы. В него метнули полено, которое больно ударило по ногам. Мансур чуть не упал. Он выскочил во двор, из двери ему вдогонку полетело второе полено. Он замедлил шаги и обернулся. На руку капнуло что-то тёплое. Поняв, что из носа у него идёт кровь, он принялся вытирать нос снегом. Тут к нему подошёл перепуганный Габдулла. При виде крови он побледнел. Не зная, что сказать, стоял возле Мансура, чувствуя себя виноватым.

– Это ничего, – сказал Мансур. – Вот кровь из носа пошла.

Габдулла оглядел его и, обнаружив на пальто пятна крови, стал утешать Мансура и ругать взбесившихся мужиков. Вышли на улицу. Мансур остановился, чтобы почистить снегом испачканное кровью лицо, потом зашагал вперёд. Габдулла, повесив голову, молча шёл рядом, понимая, что приятель пострадал из-за него.

Мансуру было не до шуток. Неожиданное нападение огорчало, ведь на уме у него не было ничего плохого, просто хотелось помочь человеку, и вот «награда». Ему теперь тоже стало казаться, что дело, за которое они взялись, – пустая трата времени. Оба шагали, с досадой думая о неудачно прожитом дне. Простившись, оба продолжали оставаться в плену сомнений.

8

На другой день, поскольку Мансуру-эфенде надо было идти на занятия, Габдулла решил самостоятельно побывать в местах, где ютится беднота. Сразу же после утреннего чая он отправился в казарму, на которую указали ему нищие из махалли, расположенной за мостом через озеро.

Габдулла торопливо поднимался по скрипучим ступенькам, словно наверху его ждала срочная работа. Он был ещё на середине лестницы, как дверь казармы открылась, тёплый воздух, вырвавшись наружу, смешался с морозным, и, превратившись в туман, застлал ему глаза.

Спёртый влажный дух казармы напомнил Габдулле вчерашний подвал.

Уступая дорогу выходящим, он остановился. Из двери сплошной вереницей шли старухи, дети, девушки, в самых невероятных нищенских облачениях. Не видя Габдуллу, они продолжали разговор, начатый ещё внутри помещения. Из их слов Габдулла понял, что все они нищие и идут на обычный свой промысел – собирать милостыню. Видя, что они смеются и шутят, Габдулла удивился. Ему трудно было понять, как можно веселиться, когда живёшь впроголодь и пропитание добываешь попрошайничеством. Он присматривался к проходившим мимо, надеясь встретить ту, кого ищет. Габдулла не собирался останавливать их, но одна женщина, заметив его, воскликнула:

– Ой, здесь стоит кто-то!

Остановившись, она стала разглядывать его. «Придётся, видно, сказать что-то», – подумал Габдулла и заговорил о цели своего прихода. Все, кто стоял рядом, как всегда, решили, что он ищет себе девушку.

Вместо ответа женщины принялись шушукаться между собой, обсуждая что-то. Габдулла понял: уговаривают девушку по имени Марьям пойти с ним.

– Иди, иди, Марьям, красивый джигит в баню приглашает, – говорили они, – Валлахи, иди! – Габдулла смутился, злясь на себя оттого, что не сумел толком объяснить, чего хочет.

Женщины со смехом стали указывать друг на друга пальцами, спрашивая:

– Вам эта нужна? А, может, вот эта?

– Нет! – сказал Габдулла.

Старая женщина заметила:

– Да уж, наверное, и эта сгодилась бы, не навечно ведь.

Габдулла покраснел, не найдя, что сказать в ответ. Женщина, стоявшая впереди, вздохнула шутливо:

– Ну что ж, свадьбе, как видно, не бывать, – и пошла вниз.

Остальные, смеясь, последовали за ней. Габдулла стал ждать, когда они пройдут. Сверху стали спускаться дети, прошла молодая мать с грудным ребёнком на руках, замотанным в тряпье. Позади всех шёл старик, с трудом переставляя ноги и поглядывая по сторонам, видно, боясь упасть. Он наткнулся в темноте на Габдуллу и стал всматриваться в него. Тяжёлый взгляд, казалось, обвинял, будто каждый встречный был причиной его болезней, нищеты, голода. Габдулла испытывал к старику смешанное чувство жалости и неприязни, уж слишком мрачен и неприветлив был его взгляд. Он будоражил душу, выдержать его было нелегко. Старик тихонько двинулся своим путём, теперь Габдулла видел лишь спину в лохмотьях да тело, дёргавшееся при каждом шаге. Враждебность исчезла, оставалась жалость к старому человеку, который, подойдя к краю жизни, вынужден спасаться от голода попрошайничеством. Не зная, как ещё можно помочь калеке, он полез в карман за деньгами. Увидев в своей дрожащей руке довольно крупную купюру, старик начал поворачиваться на больных ногах. Кости его скрипели и стучали, словно мельничные жернова. Наблюдать это было тяжело. Пробормотав: «Не

надо, не надо!» – Габдулла торопливо зашагал навверх. Спиной он продолжал ощущать колючий взгляд старика. Отворив дверь, Габдулла прошёл в казарму.

Окна большого помещения были загромождены всевозможными приспособлениями, защищающими от холода. Столбы между окнами, грязные стены, неровные полы с буграми и ямами – всё скорее походило на скотный двор, нежели на обиталище людей, но занавески и люди, сидевшие тут и там возле окон, чем-то напоминали медресе. Влажный, спёртый воздух, вещи, пропахшие духом нищеты и безысходности, только люди, которые лежали, ели, копошились, несколько оживляли картину. Всё, что Габдулла увидел здесь, было теперь уже не ново для него, хотя и трудно было представить себе, чтобы в одном месте скопилось такое множество убогих. После вчерашнего похода с Мансуром ничем удивить его было невозможно. Он не стал тратить время на разглядывание этого рассадника нищеты, а подошёл к старику, который починял сапоги, и заговорил с ним.

Старик, выслушав его, сказал:

– Были здесь девушки, да ушли только что.

Габдулла заметил, что встретил их, но той, которая ему нужна, среди них не видел. Он счёл нужным объяснить:

– Девушка доводится мне родственницей. Когда я уезжал в Сибирь, она оставалась совсем маленькой. А теперь я, слава Аллаху, вернулся из Сибири богатым, хотел бы найти её, чтобы забрать к себе.

К ним подошла старуха в рванье. Габдулла и ей повторил свою историю.

Нищенка спросила:

– А звать-то её как?

Вопрос застал Габдуллу врасплох.

– Не знаю, – сказал он, – забыл имя, не то Фатыма, не то Зайнаб.

Такой ответ показался старухе подозрительным. Она стала перечислять живущих здесь девушек и рассказала историю о том, что недавно в казарме у них умерли старик со старухой, единственная их дочка осталась совсем одна, без гроша в кармане. Пошла она за закят, а над ней надругался сын богатых людей. Несколько дней проливая она слёзы, а потом вдруг пропала. Слушая эту историю, Габдулла почувствовал, как сердце его сжалось. Он сразу понял: это она.

– А народ что говорит, куда делась эта девушка?

– Да по-всякому говорят: одни – будто бы в Кабан бросилась; другие – перебралась туда, где люди не знают про её беду; третьи – будто бы в публичный дом ушла. Всё может быть. Только уж больно хороша была голубушка, и грамоту знала и стыдлива была. В ночь, как приключилось с ней такое, никак не хотела домой, стояла на морозе и плакала. Насилу уговорили.

– Когда это случилось? – спросил Габдулла и, получив ответ, уже не сомневался, что речь идёт о той самой девушке, которая наградила его незабываемым, полным горечи поцелуем.

– А как её зовут?

– Сагадат, – сказала старуха.

Габдулла повторял про себя имя девушки, думая о том, сколько горя причинил ей. Ему стало казаться, что девушка не смогла пережить позор и утонула в проруби. Он будто видел её, вмёрзшую в лёд, – её чёрные ресницы, румяные щёки, взгляд мёртвых глаз с застывшим в них проклятием себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.